

ИЗБРАННОЕ

НИКОЛАЙ Задорнов

Хэда



Избранное

Николай Задорнов

Хэда

«ВЕЧЕ»

1979

Задорнов Н. П.

Хэда / Н. П. Задорнов — «ВЕЧЕ», 1979 — (Избранное)

ISBN 978-5-4484-8432-2

«Избранное» исторических произведений известного русского писателя Николая Павловича Задорнова (1909–1992) открывает тетралогия «Черные корабли с Севера» об экспедиции адмирала Путятина в Японию с целью заключения первого русско-японского договора. «Хэда» – третий роман тетралогии – рассказывает не только об интересной и необычной жизни наших моряков в Японии, но и об их тяжелых плаваниях и о смелых подвигах при возвращении на родину во время Крымской войны 1855 года.

ISBN 978-5-4484-8432-2

© Задорнов Н. П., 1979

© ВЕЧЕ, 1979

Содержание

Холодная весна	6
Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	16
Глава 4	27
Глава 5	32
Глава 6	39
Глава 7	45
Глава 8	55
Глава 9	61
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Николай Павлович Задорнов

Хэда

Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями...

И. Гончаров

Фигуру можно изобразить без глаз, но она должна казаться смотрящей, без ушей, но пусть кажется, что она может слышать...

Ли Юй. Слово о живописи

© Задорнов Н.П., наследники, 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

Холодная весна

Глава 1

Большому дереву на ветру трудно

Прекрасный праздник Весны – пробуждения жизни и солнца, – Новый год минул, а весенняя погода стояла мокрая, со снегом и злым ветром, больно бьющим полуголых людей в лохмотьях, словно начиналась северная осень. Стало гораздо холоднее, чем короткой предновогодней зимой. Но солнце, за мглой и тучами, что-то обещало, хотя его подолгу не было видно, и многие старики и больные умирали, так и не взглянув на него в последний раз. День прибывал понемногу, словно тьма отступала нехотя.

Вот в такую погоду, когда большая часть лиственного леса еще гола, Эгава Тародзаймон ехал верхом через горы, снова направляясь от места своего жительства и службы в прибрежную деревню Хэда, где иностранцы и японцы строили европейский корабль. По делу, которое остается для Эгава важнее всего и за которое с него еще спросится. Эгава хорошего для себя ничего не ждал!

Сквозь наготу леса с утра чуть проблеснуло солнце, и казалось, очистится небо, лучи выжгут и сгонят с его синевы всю мглу, до единой пряди, на стволах засияет множество красок, первым весенним теплом и тайной силой задышит природа, оденутся листвой еще недавно голые лесные великаны, и жалкими покажутся черствые и жесткие вечнозеленые деревья и кустарники.

Но через час стало совсем сумрачно, с моря нашла серость, ветер временами налетал со свистом. От голи и черноты лесов глаз охотно отстранялся, искал придорожную гляцевитую листву и редкие пышные цветы горной сливы.

На подъеме дорога подмерзла. Конь под Эгава мягко ступал по ее черной льдистой грязи в своих соломенных башмаках.

Всадник закутан в ватный дорожный халат. На голове шапка из осоки – символ власти дайкана – начальника округа.

Эгава Тародзаймон только лишь дайкан. Его округа на горном полуострове Идзу, недалеко от столицы Эдо. Но дайкан Эгава известен правительству. Высшие чиновники, князья и даже члены горочью – высшего государственного совета, состоящего из пяти важнейших вельмож во главе с самым гениальным канцлером Абэ – знают его имя, верят в его талант и, не давая ему повышений и не выказывая ему излишнего внимания, возлагают на него, как всегда, самые большие надежды, конечно, и большую ответственность. Сейчас все ждут, что исполнит Эгава.

По обстоятельствам времени ответственность Эгава перед высшим правительством возросла. Обязанностей стало больше, и они требуют все большего труда, таланта, а также знаний, каких, как полагает сам Эгава, у него нет, а этому виной не он.

Эгава вырос в семье потомственного дайкана. Он с детства проявлял разнообразные таланты и, став сам дайканом, вскоре обратил на себя внимание общества и как художник, и как ученый-изобретатель, и как инженер-самоучка. Еще задолго до появления американской эскадры Перри в заливе Эдо он сконструировал и построил у себя в селении Нирояма, в горах, две гигантские печи, плавил в них чугун и отливал из него пушки.

Он почтительно и осторожно, но настойчиво и твердо объяснял высшим лицам империи, что изоляция губит страну, что Япония должна сблизиться с другими государствами и народами, заимствовать у них все полезное, признать свою отсталость, создать свою промышленность, развивать науки, готовиться к созданию собственного современного флота, а главное –

неустанно учиться. При этом Эгава был так благонадежен и так доказал это своим честным трудом и ему так доверяли, что никто в правительстве не обвинил его в готовности к измене или в коварных замыслах.

...В пути невольно вспомнишь все, но только сильнее разбередишь себя. В душе всегда бесстрашного Эгава вспышками являются тревоги и сомнения, похожие на страхи. Молнии в мозгу мгновениями озаряют неизбежные опасности грядущего. Старый князь Мито – глава всех консерваторов, родственник шогуна¹ и родственник дайри² – давно заинтересовался гениальным Эгава и теперь называет его своим другом.

Но князь Мито и правительство в свое время не слушали его, держались традиционных страхов и запретов, а не его честных советов ученого.

Когда же под угрозами пушек, наведенных с иностранных кораблей, пришлось открывать Японию и заключать договоры, все спохватились. Японии нужен флот для дальнего плавания! Срочно выпущен указ об отмене запрета на постройку кораблей дальнего плавания! Но указ – это еще не флот. На одном указе не поплывешь, как на корабле. Князь Мито сразу заявил, что надо самим научиться строить современные суда. Но кто же построит? Кто выручит страну? «Эгава»! Эгава все умеет, он все знает, он – гений и все сможет. Да, Эгава об этом говорил давно, но мы его мнения тогда еще не могли принять. Эгава и теперь готов спасти страну! Так сказал князь Мито. Так решили в столице. Эгава было поручено построить первый европейский корабль дальнего плавания. Конечно, Эгава готовился к этому и просил позволения выписывать книги и учиться. Когда приходили американцы, он, как мог, изучал их пароходы, посылал людей крадучись снимать чертежи, осматривал сам беглым взглядом все, что мог. И чем ближе знакомился Эгава с устройством западного судна, тем яснее становилось, что у него недостает знаний для постройки такого же своими силами. Упущено время. В пору запрета, получая лишь отказы правительства, он почти бесплодно тратил силы ума в догадках и попытках открыть то, что давно открыто в Европе. Минула молодость! Великие покровители и друзья в Эдо, которые так его хвалят теперь, так им восторгаются, лишь связывали ему руки, превознося его гениальность. Они не позволили выучиться ему и другим, жаждавшим знаний, ничего не сделали до тех пор, пока не увидели огромные жерла морских пушек, готовых послать огонь и железо на дворцы и замки Эдо.

Эгава не робкого десятка. Он готов отвечать за любое упущение. Он старается исполнять приказ и делает все, что может. Он сидел дни и ночи напролет, составляя чертежи, после того как в селении Урага он построил первый европейский корабль «Хоо-мару».

Судно получилось неудачное. Сразу же стали строить второе судно – «Асахи-сё» («Восходящее солнце»).

Близ столицы Эдо, на берегу залива Эдо.

В это время произошло несчастье, которое, по мнению многих, оборачивалось большой удачей. Чудовищное землетрясение и гигантская волна цунами погубили тысячи людей во многих городах и деревнях. На море Идзу, неподалеку от деревни Хэда, в бурю погиб корабль русского посла Путятин.

Правительство Японии разрешило послу России построить новый корабль для возвращения на родину. Путятин и шестьсот его моряков перешли пешком в деревню Хэда, где им даны были материалы и предоставлены рабочие.

Адмирал и посол Путятин оказался опытным судостроителем, а его очень молодые офицеры, почти мальчишки, оказались математиками и мастерами проектировки и западного судостроения. Как это все просто там, где не боятся науки!

¹ Шогун, как считали европейцы, светский властелин, командующий войсками, наследственный владыка Японии.

² Дайри, микадо, тенно – так называли японцы императора.

Русские открыли японцам все секреты строительства судов, показывали свои чертежи, не скрывали ничего, их матросы учили японских плотников, что и как делается удобнее и лучше при постройке судна и его частей. Все начато не так, как у Эгава в Урага. Если бы можно было бросить почти готовый корабль, сжечь его и с самого начала, учась у русских, воспользоваться их опытом и знаниями для строительства правительственного корабля! Но Эгава исполнял приказ и спешил, спешил, и дело ушло далеко вперед, оно почти закончено. Теперь уже ничего не воротишь и не остановишь, надо смертно запахивать халат и доводить все до конца. А русские свою работу только начали. Впрочем, есть надежда, что когда будет спущен на воду корабль Эгава, то, может быть, поплывет и он. Неужели зря старался Эгава и все собранные им опытные судостроители приморского округа Идзу?

В Эдо шум и суматоха. Все обижены! Друг на друга, на иностранцев, одни проклинают прошлое, другие его возвеличивают, а сами потихоньку соображают, как лучше сблизиться с иностранцами. Даже консерваторы мечтают поехать когда-нибудь в Европу. Время суеты и раздора, падение старых устоев, необузданных и неожиданных вспышек ненависти к западным людям, к их идеям и к тем, кто открыто говорит, что хочет учиться у Запада. Время лжи и лицемерия! Ученых раньше не щадили, это признавалось полезным, патриотическим. Все, кто хотел выслужиться – выказать патриотизм и обратить на себя внимание, – поносили все западное, а для ученых, проповедовавших науки, требовали казней.

Американцы задели самую чувствительную струну в нашей жизни, пришли смело, пренебрегая нашими обычаями, не обращая внимания на нашу важность. Они живо отучили японцев от высокомерия, называя нас варварами, наши сложные традиции объявили глупыми и пустыми церемониями и открыто смеялись над нами. При этом они не дарили безделиц под видом символов величайшего значения, а дали паровоз, телеграф и виски.

Они ростом больше нас, и мысли их пока обширнее наших. Они обо всем говорят прямо, смело показывают свои намерения и не сидят без дела. Пригрозили так нашему правительству и князьям, шогуну и живому богу, что у всех дух свело, ничего не остается больше делать, как благодарить американцев, и улыбаться, и заявлять о великой дружбе с Америкой, а между собой приходится спорить, как подольше оттянуть открытие портов для американской торговли, как, хотя бы на время, избежать обязательств, взятых на себя по договорам, чтобы не опозориться перед собственным народом, которому мы так долго внушали, что наша страна самая сильная и неприступная, самая благоустроенная и цивилизованная, а мы умнее всех на свете. Теперь это учение о первородстве, о божественном происхождении, о превосходстве и исключительности начинает разваливаться?!

В свое время Эгава предупреждал, тысячу раз говорил, требовал, объяснял. Разве своих кто-то слушает? Иное дело – когда американцы потребовали, чтобы наш бог подписался под их договором.

Русские чем-то похожи на японцев, а чем-то на американцев, так кажется некоторым. У них матросы всегда голодные и всегда хотят спать – если улучают время, то валяются где попало и засыпают. Это очень удивляет японцев, которые даже детям запрещают что-нибудь подобное, например, спать или есть на улице. Конечно, дети не слушают, как и взрослые бедняки.

Сверху, с горы, все внизу видно, как на карте: леса, реки, ущелья... В раннем детстве Эгава изучал географию по старинной японской карте, где изображены все земли мира: страна одноглазых людей, это где-то близко, чуть ли не на современном Сахалине, остров карликов, жаркая страна голых людей с красной кожей, материк людей с собачьими головами...

Да, в детстве так учили! По глупейшей карте! Хотя почти все образованные люди знали уже, что мир не таков, как мы его изображаем в атласах. Отец говорил, что эти карты неправильные. Но в семье Эгава, как и во многих домах феодалов и чиновников, полагали, что надо учить по традиции. И губили детей. Каков мир на самом деле – не научили вовремя, сбили с

толку, привили на всю жизнь подозрительность, отбивали охоту учиться, взамен ее с годами у юношей являлась страсть жить в свое удовольствие, наслаждаться, пить.

Домашние и даже сами учителя тайком объясняли иногда детям, что все не так, многое, что написано в старых книгах, – вранье, но никогда не надо подавать вида, что это знаешь, а надо учиться как принято, очень старательно. Сколько же молодых жизней высушено и загублено на таких уроках! Всю жизнь говорят: это не так, но надо знать хорошо, это уже опровергнуто, но изучи наизусть, отвечай без запинки.

«Эта карта – сказка? – спрашивал мальчик у отца. – Но зачем же ее изучать? Довольно, если бы рассказала бабушка...» Отец уводил мальчика с глаз посторонних, брал лозы, мочил их в воде и наказывал, воспитывая волю и сдержанность у будущего дайкана!

Кто хотел запугать всех небылицами? Знает ли об этом гаогун? Тенно? Ведь бог должен все знать. Кошунство или трагедия? Мокрые лозы били больно, но не выбивали мыслей. Мальчик становится скрытным. Хотели запретить думать о других странах, чтобы никому не пришлось в голову, что где-то можно жить, кроме Японии. Такие учебники составили наши философы и академики!

Япония – процветающий оазис, населенный цивилизованными и прекрасными гражданами, которые счастливы под совершенным управлением, а весь остальной мир – пустыня, населенная страшилищами, всюду господствуют болезни, уродства, порок, и всюду ложь и преступления! В Японии все совершенно! И при этом учителя ухмылялись, но взыскивали строго.

Эгава, заместив скончавшегося отца, стал дайканом. Он много думал, как же учить народ и не обманывать.

Один старик, содержатель распивочной, сказал однажды: «Нам все равно, лишь бы было саке и саканэ!³ Не все ли равно, чему обучают ребятишек! Когда выпьем саке, то счастливы и согласны...»

И вот Эгава постарел. Он сам опасался своих мыслей, он соглашается, что Япония – лучшая страна, что все эбису⁴ враждебны ей.

Но Эгава желал бы, пока не поздно, обучить и вооружить свою страну науками, заимствованными у эбису. Пока и у нас не вспыхнуло восстание против правительства, как в Китае, и пока под наведенными с кораблей пушками мы не пустили англичан к себе торговать отравой, как китайцы.

Эгава до сих пор ошибается в европейской географии, в его знаниях есть несоответствия и неточности. Ему, например, кажется, что Кавказ по размеру равен полуострову Идзу. Те же горы, скалы, грохочущие потоки. Юнкер князь Урусов – родственник императора России – так сказал ему: «Идзу – это японский Кавказ. Еще красивей! На Кавказе нет Фудзиямы!» Он льстил!

На днях Эгава видел в журнале у Путятина картину. Наместник Кавказа русский генерал едет по горам. Его сопровождает кавалькада конных офицеров. Но самое поразительное, что удивило дайкана, – сотня казачьего конвоя. На сильных конях вокруг наместника гарцуют казаки в мохнатых папахах, с густыми усами и бровями, все с саблями и пиками. Вдали, по дороге, на горе целый лес пик. Это очень отважные воины. Не самураи, но все верхом на конях и всю жизнь сражаются. Россия счастлива тем, что у нее много храбрых врагов. Ее воины обучены с детства обращаться с оружием. Скачут на конях, джигитуют, встречая в честном бою врагов, страшных своей силой и мстительностью.

А у нас даже нет врагов. Япония всех отвергла: весь мир – и врагов, и друзей. В самой Японии всех врагов уничтожают шпионы. Тихо, без всякой храбрости. У нас не все самураи имеют право садиться на коней. Не говоря уже о слугах!

³ Вино и закуска к вину.

⁴ Варвар – так называли всех иностранцев.

Сейчас сзади Эгава едут конные самураи, за ними трусят рысцой скороходы. Бегут и не отстают, когда дайкан пускает коня вскачь. За ними спешат слуги и носильщики. Но разве это конвой?

Горы Идзу в ведении Эгава, почти весь полуостров в его округе, власть дайкана огромна. Но казачьи кони цокают по камням копытами, подкованными сталью, а их седоки всю жизнь живут под пулями гордых горцев! А мои кони тихо и мягко шлепают соломенными башмаками, как посланные с тайным поручением в хвосте того, за кем следят. Все люди и лошади заняты одним и тем же благородным делом!

На Идзу все японцы покорны и нет войны. Когда погиб русский корабль, князь Мито сначала с вершины своего могущества потребовал: всех русских, высадившихся на берег, убить! Чужеземцам не разрешать ступать на землю Японии. Отвергнуть требование Путятину о постройке нового корабля! У нас есть Эгава! Он без них отлично строит европейский корабль!

Тогда возвысился благородный голос посла Японии на переговорах с Россией. Кавадзин заявил свое мнение: разрешить герою Путятину построить корабль. Изучать при этом европейское судостроение. Назначить для этого японских плотников и других мастеров.

Кавадзи сомневался, что Эгава может создать западное судно. Очень обидно. Но это правда.

Эгава назначен ответственным за постройку корабля Путятину, в помощь адмиралу и для изучения дела. До сих пор Эгава скрывал от русских, что строит европейское судно в Урага. Так одновременно строятся два корабля и оба под руководством Эгава. Кроме того, князь Сацума стал строить в своих владениях еще один корабль. Всех этих безграмотных князей охватил патриотический порыв.

Русские предъявили странное требование: доставить несколько бочат свиного сала. Не для питания матросов, а для постройки шхуны. Как это понять? Эгава обязан все немедленно исполнять. При этом, как инженер и изобретатель, – учиться. Все, что возможно, постараться перенести вовремя на постройку своего корабля в Урага.

Следом за кавалькадой самураев на мелких, ходких лошаденках и за рысящими скороходами четверо носильщиков мчат на толстой жердине тушу только что убитого кабана. В подарок Путятину и для прокормления его морского войска. Еще одного лесного кита убил юный сын Эгава, будущий дайкан, отцовская надежда и отрада. Отличный, смелый охотник, знающий горы Идзу, пожалуй, лучше, чем отец. Когда есть такой сын, то все остальное не страшно. Семь дайканов Эгава сменяли друг друга за двести с лишним лет с тех пор, как во главе государства встали шогуны рода Токугава. За эти двести лет вымерли немногие роды героев из дружины первых Токугава. В большинстве вельможи и чиновники сохранили родовую силу, они из поколения в поколение воспитывали умных и мужественных молодых людей, готовых заменить отцов. Потомки этих родов служат на тех же должностях, которые двести лет тому назад были созданы для их предков первыми шогунами.

Князь Мито из рода Токугава не только родственник самого шогуна. Он не только самый влиятельный князь из трех ветвей шогунского рода. Он также родственник тенно, живущего закрыто в Киото. Его мать была сестрой тенно. А тенно нельзя скинуть со счетов. Путятин это хорошо понял. Когда его корабль был цел, он ходил в Осака, при этом официально считается, что Путятин хотел напугать Японию. Путятин очень умный посол, он далеко видит. Путятин строгий, но справедливый, очень опасен в дипломатических спорах, при этом не похож на послов остальных западных стран: на Перри, Адамса и Стирлинга.

Путятин предвидит величайшее потрясение в государственном устройстве Японии. Он вполне сочувствует японцам. Следует помнить: хотя он из чужого и чуждого государства, но показал Японии, что готов оказать почести тенно! Конечно, идя в Осака на судне, адмирал понимал, что не увидит тенно и ничего не сможет ему передать. Что его никогда не пустят в Киото. Но он показал, что известно главное направление – к властителю Японии, к микадо.

Японцы сделали вид, что оценили действия Путятина как враждебные и ошибочные, хотя всем было понятно, что он никогда и ничего не делает зря, даже когда всем кажется, что он ошибается. Он без слов сказал, каким должно быть новое управление Японией при перемене жизни всей страны и при устройстве ее на западный образец. Он говорит уже три года на переговорах, что Япония должна переучиться и стать развитой по-западному. И при этом он своими поступками молчаливо намекнул на тенно как на извечное начало начал. Это дружелюбно, благородно и очень опасно и коварно. Поэтому признано враждебным действием.

Князь Мито тем сильнее становится, что он все время тайно сносится с дворцом тенно в Киото. Более могущественного человека трудно вообразить.

Эгава не посмел твердо и категорически заявить князю Мито, что не будет строить второй корабль европейского типа в Урага, не имея для этого достаточных знаний. Он поступил как чиновник, а не как ученый. Когда приказывает высокий покровитель, то чиновник верит ему более, чем себе, и лжет себе. Вот к чему приводит дружба с тем, кому всю жизнь бываешь благодарен за поддержку.

Князь Мито бывал с Эгава прост и доверчив. Он получил для Эгава позволение изучить американский телеграф и паровоз. И художники нарисовали, как Эгава, словно демон, с раздувающимися на ветру халатами мчится по рельсам верхом на маленьком паровозе.

Но хуже всего, что друг и высокий покровитель и в политике путает новое со старым, как и на постройке корабля. Катастрофа же обрушится со временем на Эгава, как на верного слугу и пособника старого Мито.

Глава 2

Старик в соломенных валенках

На вершине перевала рвал злейший ветер. Под его ударами конь остановился, упираясь, словно его вместе с седоком могло поднять над обрывом. Эгава невольно съёжился в седле, не сводя взора с далей.

Открылось низкое море с черными, ходившими под тучей вихрями и прядями ливней. А внизу – тихая бухта Хэда, круглая, как синее блюдце.

Эгава, очень любившему свой дом, свою семью, свои домашние занятия, свое селение в горах и плавильный завод с его запахом будущего промышленного величья отчизны, показалось, что этот ветер не здешний, не горный, а из далеких морских стран, особый хэдский ветер, от которого повеяло неведомым просторным миром и прекрасным будущим детей Эгава.

За морским заливом видны горы, а за ними океан, высокий, как небо, и оттуда идут вихри дождей и непогоды.

Эгава припустил коня по ровному, покатоному спуску, и сразу же затряслась и зарысила кавалькада, понеслись скороходы со всеми корзинками на выючных животных и на согбенных людских спинах. Мимо помчался очень крутой скат, весь в черных елях, как копыта они остриями покрывали тут скаты и кручи гор.

У заставы из-под круглых травяных крыш, как из-под зонтиков, вышли на дорогу вооруженные самураи. Эгава приостановился, слез с коня и поговорил с начальником за чашкой чая.

Ниже лес становился все глуше и черней. На повороте опять открылась бухта Хэда, теперь уже близкая, со множеством домиков и садов вокруг. Горы стеснили бухту и деревню правильным кругом со всех сторон. Только одной горы не хватает, словно она вышиблена прочь или провалилась в океан. От нее осталась выгнутая гряда каменных обломков, составляющая правильное полукольцо. За косой шумит и бьется океан, тщетно стараясь перекинуть волны через ее камни в бухту.

Там, в каменном кольце скал и косы, как бы замкнувших Хэда, есть прорыв, ворота, через них бухта сливается с океаном. Коса из камней сдерживает порывы океана, останавливает его попытки забросить волны в ворота. Маленькая бухта держится очень стойко, и громадные волны откатываются и только кипят, кипят у ворот.

По косе над грядой камней тянется очень длинная редь сосен. На косе – плодородная почва, там летом цветут кусты хамаю с большими и важными белыми цветами, поднятыми на высоких стройных стеблях над глянцевитыми широкими листьями. Там стоят в жару целебные для души ароматы сладких хамаю и смолистых сосен и вырастает густая, высокая трава. И все поэтично прикрыто каменными россыпями и соснами от глаз иностранцев, проходящих в океане.

У одной из морщин, пробороздивших природную каменную крепость вокруг Хэда, стоит не видимая западным подзорным трубам платформа, на которой русские возводят свой корабль, – причину страха и надежд, а также несчастий и позора Эгава! Они умело укрыли все свои работы – даже отсюда, с гористой дороги, нельзя заметить, что сейчас происходит в узком ущелье.

Каждый раз, когда Эгава бывает здесь, горы и море оказываются иными. Никто и никогда с такой любовью не описывал бухту Хэда и не изображал ее так необыкновенно и романтически, как сам Эгава. Но он чуждался всего неяпонского, заморского, что таится в людях Хэда, в этих потомках неведомых пришельцев, принесенных океанскими валами с чужих островов и из далеких стран и смешавшихся за столетия с японцами. Хотя японцев и в древности было много, а принесенных морем было мало, но все-таки в этой деревне до сих пор угадывается в лицах жителей что-то особенное, таинственное. И не только люди тут необыкновенные. В Хэда

растут деревья, которых нет нигде больше; наверное, теплое течение, идущее с юга, приносило семена с далеких тропических островов.

Поймет ли кто-нибудь все это, разберется ли, постигнет ли Эгава-художника, угадает ли мечты поэта в его пейзажах Идзу, в которых он куда смелее, чем Эгава-чиновник в делах. Нет, никто этого не увидит и не угадает. Может быть, пройдет много лет и в семье Эгава родится мальчик, который вдруг все поймет и уловит, и вдохновится этой же мечтой, хотя он увидит уже другие пейзажи и другой мир. В надежде, что так случится, Эгава будет работать и работать, чтобы дать волю чувству, которое тем сильнее рвется к жизни, чем строже запрещается его проявление.

Конь, ожидая окрика седока, настороженно рысил вниз. Недавно пришлось услышать от иностранцев, что живопись Эгава, как и у всех японцев, искусна, но искусственна, что их пейзажи нарочито романтические, что в Европе художники давно отказались от изображения высоких чувств на фоне придуманных скал, грозных туч, дремучих лесов и низвергающихся потоков, что все это лишь традиционные банальности, а суть жизни не в этом, а в нравственном просвещении, к которому надо стремиться, что живопись и литературу Запада занимают страдания бедняков в трущобах, художники изображают отношения людей во всей глубине их чувств. Так очень назидательно и самоуверенно поучал дайкана один из спутников посла Путятина – молодой юнкер Урусов, про которого в деревне Хэда узнали, что он родня русскому императору.

Да, все, что я вижу, проезжая в ветреный день по своей округе, по лесу и над морем, все это лишь банальная романтика. Но как же быть, если я как дайкан, по должности своей, заведу банальной округой, в которой горы в лесах, всюду скалы висят над головой, под ногами коня открываются пропасти, а издали веют ветры всего мира?

...Впереди завиделась спина плетущегося путника. Старик в соломенных валенках, со связкой дудок сухой белой травы за спиной. Услыхав стук копыт и беглые шаги скороходов, он оглянулся, на миг замер и, увидя дайкана, встал как вкопанный. Потом покорно, умело и почтительно опустил голыми коленями на мерзлую землю, сняв шляпу. На плечах его соломенная рогожка поверх короткого халатика, на бедрах плотная повязка. Голые колени страшны от худобы и холода.

Эгава увидел озябшее испуганное лицо со старческими выцветшими до пустоты глазами. Дайкан знал всех в своей округе. Этот старик – отец плотника, сам бывший плотник, работавший по найму всю жизнь, а теперь уже больной и слабый, но все же ходит в лес, собирает, где позволено, сухую траву на топливо. Его сын трудится с русскими в ущелье Быка, обучается западному судостроению, один из лучших плотников в деревне Хэда. Рабочие не смеют брать щепье и стружки для своих печей. Старик всю жизнь был хорошим плотником, но год и один месяц тому назад в правый глаз его попала щепочка, и старик стал хуже видеть. Летом он не смог больше работать. Семья стала беднеть. Не желая быть сыну в тягость, старик чем может помогает; летом на огороде и на маленьком рисовом поле, где не надо такой острой зоркости, как на постройке судов. Вот теперь, зимой, собирает ветки и сухие дудки. Беднякам все пригодится. А сын его, Таракити, тем временем работает у Путятина и учится. Вот нищий старик в соломенных валенках, а сынок его ведь перегонит самого Эгава!

Дайкан невольно оглянулся. Старый плотник, зашагавший было, поймав одним глазом взгляд дайкана, вмиг потерял всю свою бодрость и сжался от страха, путаясь в своих же ногах.

Мало лестного! Что толку от народа, которому внушен вечный страх!

Перед отъездом Эгава получил тайный приказ наказывать в деревне Хэда тех, кто сближается с иностранцами. Взять всюду строгие меры, чтобы сохранить единство и сплоченность духа.

Кто близок с иностранцами в Хэда? С ними дружен пожилой плотник Кикиути, у него семья большая. Близок сын этого старика – Таракити. Также Хэйбэй из деревни Миасима. И все остальные плотники и кузнецы.

Хэдский самурай старик Ябадоо, наблюдающий за рыбаками, сам, еще не зная, что будет такой указ свыше, уже наказывал рыбаков, чтобы не смели разговаривать с эбису. Он расправился с Сабуро из дома «У Горы». Но ведь плотники не рыбаки. Они все время должны с эбису работать. Как им запретить общение? Требовалось хотя бы одного наказать, хотя бы не из плотников...

Эгава должен наказать строго. Но скрыть от русских. Днем они всюду ходят, им разрешено удаляться за семь ри⁵ от Хэда. Придется наказывать ночью, втайне от гостей.

В прошлый приезд в деревню Хэда Эгава наблюдал, как Таракити работает. Оказался тихий, старательный, скромный парень. Лоб у него большой, лицо скуластое, румяное, руки сильные.

Налетел новый порыв ветра. Начинается ураган? Или сейчас же все стихнет? Нет, ветер крепчал.

Эгава поехал побыстрее. Вот уж видна знакомая поляна. Эгава увидел, что на толстом стволе сосны проступает светлая трещина, как розовая рана на теле; эта трещина ширилась, и ствол вдруг расщепился и разошелся надвое со всей массой ветвей, мха и лишаяев, с седыми и зелеными иглами, с мертвыми и живыми сучьями, и одна половина дерева стала падать.

Эгава придержал коня и замер, оцепенев от суеверного ужаса. Это была любимая сосна покойных отца и деда. «Седая сосна». Художники рода Эгава рисовали ее. «Отрада моего отца». Эгава остановился у разломанного дерева с павшими лапчатыми ветвями в иглах и во мхах. Дерево у основания такое же толстое, как каждая из двух отражательных печей, построенных Эгава в селении Нярояма. «Пока я помню отца – он еще жив, он живет во мне...»

Роскошное, еще жизнеспособное дерево развалилось надвое, половина рухнула, не обнаружив ни гнили, ни старых ран в почерневшей запекшейся смоле, ствол, торчавший без половины ветвей, был позорно обнажен, словно подставил, как наказываемый, розовую спину под удары лоз и палок. Здоровое, еще крепкое дерево не выдержало боя ветра о свою столетнюю вершину.

Когда Эгава Тародзаймон был маленьким, отец привозил его к седой сосне и говорил: «Прошел год, теперь на стволе прибавилось еще одно кольцо!» Так приезжали сюда каждую весну.

Седое дерево еще живо, оно само, как дайкан пограничной округи, главенствует над окружающими лесами, стоит, как рыцарь у края крепости, на жестком, чуждом ветру из далеких стран и охраняет Японию. Неужели его нельзя спасти? Надо прислать лесников, пусть осмотрят трещину и залечат.

В белом косом чертеже снегопада, пригнанного с моря, Эгава спускался с гор. Когда он миновал сады и рисовые поля, тучу унесло. Эгава въехал в деревню Хэда. Тут тепло. Кусты цвели в садах и на огородах. У обнесенного камнем источника распустилось дерево.

Дайкан слез с коня у храма Хосенди, где жил адмирал Путятин. Из трубы на крыше курился дымок. У посла и адмирала морской армии печь могла топиться в любое время, никто не запрещает. У Путятина всегда тепло и уютно, даже когда всюду сыро и сумрачно. Эгава любил бывать у Путятина! Ах, если бы на душе не лежал тяжкий камень!

Согнув свою стройную богатырскую фигуру, дайкан в полупоклоне вошел в храм.

За большим адмиральским столом сидел Колокольцов и, держа перед собой открытую тетрадь, опять обучал сидевших тут же простых плотников. Таракити, Хэйбэй и пожилой Кикиути все записывали в свои тетради. Рядом с Колокольцовым черная доска. Он встает, пишет

⁵ Мера длины, японская верста.

на ней мелом западные цифры и рисует линии. Простые и низкие японцы – рабочие – все перерисовывают и перерисовывают, как грамотные самураи. «Знатоки западных наук! Создатели новой Японии!» – с завистью подумал Эгава.

Сегодня воскресенье. На самодельном календаре на стене название дня выведено яркой красной краской.

Колокольцов, не отрываясь от дела, по-западному бесцеремонно кивнул приехавшему дайкану и показал на табуретку, приглашая сесть. Очень невежливо! Так у них принято. Ученики-японцы кланялись по-европейски одними головами из-за стола, как болванчики, не выскочили и не пали ниц!

Эгава присел на табуретку. Татноскэ переводил. Он успел обучиться! Знал термины! Изучил архитектуру судостроения и математику?

Эгава вслушался, живо достал из-за пояса письменный прибор с тушью и кистями, бумагу из портфеля и, не стыдясь, стал записывать, сам увлекся, как мальчик, как в самые ранние годы, когда жадно и с восторгом слушаешь старших и веришь им.

Кончился урок. Эгава огляделся, с кем же рядом он сидел? Как он сейчас выглядит?

Японские плотники, пятясь к дверям, отвешивали дайкану множество поклонов, как бы просили прощения, что оказывают должную честь с опозданием.

Плотники ушли. Сразу же пожилой чиновник из свиты дайкана поспешил за ними. Он остановил плотников за воротами и отвел их куда-то в сторону. Видимо, что-то объяснял строго.

Неужели каждый из них может стать ученым? А впоследствии в народе скажут, что Эгава не был гениальным инженером? Просто у его родителей деньги были и положение, а, мол, гениями бесплатно не становятся!

Татноскэ знает по-немецки, и Колокольцов свободно говорит на этом языке!

Дайкан задал несколько вопросов юному учителю. Знаменитого ученого Японии образует двадцатилетний Колокольцов с большой самоуверенностью, как дикаря и неуча! Колокольцов живет с дочерью Ябадоо. Обиды покорно глотаешь, как яд, как будто не дайкан, не глава власти, а преступник!

Колокольцов заговорил с Эгава как с другом, посвященным в тайну наук. Но если бы он знал, как это грубо и оскорбительно выглядит. Но как интересно все, что тут узнаешь!

Глава 3

Феодалный князь

– Для спускового устройства адмирал затребовал свиного сала, а они толкуют мне про каких-то каракатиц! – входя, говорил Степан Степанович Лесовский. – Сало нужно для спуска шхуны!

У дверей, на половике, матрос снял с капитанских сапог кожаные калоши в глине.

Японцы, вошедшие с Лесовским, при виде своего дайкана замерли в низких поклонах.

Уэкава Деничиро – уполномоченный правительства бакуфу⁶ на постройке западного корабля, шустрый молодой человек с лисьим личиком, принимая, в свою очередь, поклоны от Эгава, – кланялся ему. Чиновник молодой, но столичный и сановитый.

– Эгава-сан! – приветствовал Степан Степанович, разглядев загадочную фигуру гостя в полутьме храма. – Рад видеть вас! Тут идет спор с Уэкава-сан. Вы кстати... – «При нас они еще сдерживаются, особенно когда встречаются здесь, а когда одни, поклонам их взаимным и церемониям – несть числа!»

Капитану Лесовскому больше тридцати. У него широкий покатый лоб, короткие брови и стриженные усы. Эгава замечает, что от постоянных служебных забот Лесовский-сан выглядит сумрачным, его маленькие глаза могут показаться подслеповатыми, как у очень требовательных и строгих людей. Такие всегда готовы стойко встречать опасности. С дорогими друзьями капитан, наверное, меняется. С его взгляда, как с прекрасного утреннего неба, сходит пелена тумана. Становится непохожим на «палубную швабру», как, по сведениям от переводчиков, называются высшие чины в западных морских войсках.

– Разберитесь, Александр Александрович! – говорит капитан.

Все европейцы с бледными лицами, с бесцветными волосами, как старики, жалко смотреть! Как истощенные, болезненные, бескровные!

Только Колокольцов смугл и румян. Цвет лица его ярче, чем у японцев! Он все время работает и много двигается, не боится солнца, ветра и дождя. Такого, по китайской поговорке, «не задержит ни снег, ни ветер»!

Может быть, в Хэда все русские блекнут от забот, от непривычных неудобств жизни?

А Колокольцов расцветает. И его матросы тоже. Ему только двадцать лет, а набрался большой уверенности и апломба. Его слушаются беспрекословно. Он вполне отвечает японским понятиям о юном гордом воине, который рано обнаруживает умение повелевать и требовать, находясь под покровительством могущественного князя.

– Григорьев! – обратился Колокольцов через плечо к стоявшему позади него унтер-офицеру. – Пойдите за лейтенантом Шиллингом, барон должен быть с Ота-сан на пристани, на разгрузке, узнайте, где джонка из Эдо. Попросите его благородие к Степану Степановичу.

Григорьев по чину старший унтер-офицер, на «Диане» был артиллерийским кондуктором, теперь при Колокольцове значится чертежником, но, по сути, – по поручениям и на все руки. В желтоватых волосах тщательно вылизанный пробор. Григорьев не только расторопный унтер, но и музыкант, в оркестре играет на трубе и на кларнете, отлично чертит и рисует, пишет красками этюды и портреты, на вид щеголь, хотя и грубоват, плотен, шея толстая и красная.

Татноскэ сказал, что слабо знает русский язык и хотел бы взять большой голландский словарь для выбора выражений. Переводчик поклонился, глядя в глаза капитану.

– Нужно сало, а не выражения, – сказал Лесовский, садясь и кладя на стол небольшие руки, красные от холода.

⁶ Так называлось правительство шогуна в Японии в то время. Буквально – «палаточная стоянка».

Григорьев сообразил, о чем толкуют японцы. Речь не про сало каракатиц, как полагал Степан Степанович. Да и то сказать: капитан с них требует столько свиного сала, что придется перерезать всех свиней. А здесь йоркширов и ферм нет.

– Да вот идет Осип Антонович, – заговорил Григорьев, как бы показывая, что готов бежать бегом на пристань за Шиллингом, да нет надобности, идет другой переводчик.

Высокий Гошкевич, в американском мундире цвета хурмы и в русских кованых эполетах капитан-лейтенанта, шел с картузом в руках, обнажив кудрявую белокурую голову и радуясь, что дождь кончился. Он поднялся на ступени, тщательно вытер ноги, поздоровался с Эгава, заговорил с переводчиком. Присели. Гошкевич и переводчики написали друг другу несколько иероглифов. Осип Антонович не сразу оторвался от заинтересовавшего его дела. Показывая Лесовскому на иероглиф, стал объяснять, что это означает не каракатицу, а большую черепаху.

«Мне-то что?» – отвечал требовательный взгляд маленьких капитанских глаз.

– Так объясняет сам Эгава-сама...

– Хоть тысячу раз будь он сам и сама!

Эгава стал что-то тихо говорить Гошкевичу.

– Адмирал! – доложил дежурный офицер и вышел встречать.

У ворот дважды звякнули, вскинув ружья, часовые в клеенчатых плащах. Низко поклонились самураи стражи.

У русских очень большой порядок, во всем аккуратность и строгости. У них идет война. На горе содержат караул, следят за морем и ждут нападения. Каждый морской воин готов к битве. Как и у японцев издревле.

Путятин отдал адмиральскую фуражку матросу огромного роста. Другой матрос нагнулся к его сапогам. У русских все входят не снимая обуви, но у дверей разложены грубые коврики и циновки, о них вытирают ноги, а у высших начальников один матрос снимает кожаные калоши или обтирает сапоги до блеска, а другой принимает пальто. При персоне адмирала состоят морские солдаты огромного роста. Известны имена двоих: Ву-тури и Ян-сини, а по-русски произносятся: Витул и Янцис. Они заботятся о еде, соблюдают порядок и чистоту, прислуживают за столом, когда гости бывают у Путятина, отдают распоряжения от его имени другим прислуживающим, как эбису, так и японцам.

Адмирал со своим любимчиком – племянником лейтенантом Алексеем Пешуровым – только что из лагеря. Евфимий Васильевич каждый день ходит туда, следит сам, чтобы харчи были хороши.

С тех пор как Путятин прибыл в Японию, он, как замечал Эгава, переменялся несколько раз. Теперь загадочен и почти неузнаваем. Его взгляд потерял силу, стал пуст и старчески слаб. Посол зарос волосами. Сейчас холодно, плохая погода, плохое настроение.

Месяц назад, когда Путятин вел переговоры с представителями японского правительства в городе Симода, а потом подписывал договор и в то же время хлопотал по американским делам за посла Адамса, он был моден, мужественно строен, тонок, затянут в мундир, опыт и сила светились в глазах лучшего моряка России, он ходил быстро, держался важно, продольные морщины на лбу, отражая напряжение ума, делали его лицо гордым, щеки были выбриты, а усы тонко и дерзко выкручены. Теперь лоб расплылся, лицо обмякло, отросли брови и усы, волосы торчат на затылке косичками, как было у американского посла, когда ему надоела Япония. Две черты по углам рта делают адмирала старым, а две гордые черты на лбу ослабили. Заметно стало, что у него бухнут щеки, а нос толстый. Словом, он стал добрее и спокойнее и от этого постарел.

Адмирал с удовольствием поздоровался с Эгава за руку, словно с одним из старых друзей, напоминающих о былых приятных сердцу временах. Путятин сел за стол ссутулившись, как старый князь, который озяб и хочет согреться после осмотра осенних полей. Ему оставалось только засунуть пальцы в рукава теплого сюртука без эполет; совершенно как японец в теплом халате. Когда Путятин становится похожим на японца, его все любят.

Офицерами замечено, что у Евфимия Васильевича есть тут чиновники, с которыми он особенно радушен. В их числе Эгава.

Молодой лейтенант Алексей Николаевич Сибирцев, наблюдая эту сцену, подумал, что Путятин по-своему угадывает, кажется, натуру Эгава. Даровитый ученый! А Евфимию Васильевичу, может быть, в судьбе его мерещится что-то знакомое, давно известное, почти свое. Ведь и у нас не переучат без протекции! Как тут не порадеть!

– С чем ко мне пожаловали, Эгава-сама? Рад вас видеть!

Мрак и радость чередовались в глазах Эгава. «Если бы вы знали, посол Путятин, с чем я пожаловал!» – хотел бы сказать дайкан.

После любезностей и передачи поклонов от японских вельмож Эгава заявил, что он привез адмиралу подарок.

– Помня ваши заботы о морских воинах... Свежее мясо. Еще одну тушу лесного кита, по-вашему – дикой свиньи, я поспешил доставить вам, ваше превосходительство, посол, адмирал и генерал-адъютант императора!

«Кабанья туша! – подумал Евфимий Васильевич. – А у нас начинается Великий пост... Нам бы капусты соленой да постного масла... Впрочем, весьма кстати!»

Адмирал постится и велит поститься офицерам и матросам. В лагерной церкви служили обедни, вечерни, всенощные.

Эгава добавил, что на кораблях доставляются продукты для войска: уксус, соевый соус, бобы, бочки с sake, лук и ящики с редькой. Посланы также соленья и сушеная рыба. Рис и мука.

Путятин нижайше просит дайкана через пять недель доставить три тысячи яиц.

– О-о! – вырвалось у Эгава. Он огорошен, ошолбенел и не может понять, зачем сразу три тысячи! Куриные яйца! Но нельзя спросить, неприлично.

– Да, обязательно куриные. Куры у вас разводятся... – Эгава вытер лысину бумажным платком и спрятал его в рукав халата.

– Господину капитану я также привез бочку черепахового жира...

Пальцы у Лесовского сжались в кулаки, и он убрал руки под стол.

– Этот иероглиф, – пояснял Гошкевич, – означает гигантскую черепаху, они водятся тут. Японцы утверждают, что жир черепах будет годен для спускового устройства. Советуют смазать полозья салазок черепаховым жиром.

– Надо испытать! – сказал Путятин.

Эгава заметил, что он при этом мельком глянул на Колокольцова.

Эгава полагает, что можно обозначить суть души Кокоро-сан иероглифом «самоуверенность». Редкий дар! Бывает, умный человек и уже опытный и даже уважаемый, пожилой, но не уверенный в себе. Тогда это очень трагично! А бывает, когда молодой, про которого еще рано говорить, что он умный, уверен в себе. Знает, когда и что сказать, а когда смолчать. Он действует сознательно, и все его поступки оказываются значительны и полезны. Он живет в ритме уверенности. Это редкое возвышенное состояние, его дает мужчине победа на войне или покорная и прекрасная женщина. Сварливая и притворщица не может; всегда злится и злит его, и жизнь идет все хуже, ее мужчина не работник и не воин. Значит, у Ябадоо идеальная дочь: покорная и красивая. Поэтому Колокольцов отличается от всех. Он живет в ритме любви, более совершенной жизнью, чем все. Неужели Сайо любит?

Эгава встревожился, он признавался, что ошибается, ведя деловые разговоры, проявляет слабость, размышляя как художник и писатель.

Закон казнит смертью женщину за измену. Все это не от уязвленного сластолюбия мужчин и уж не от мстительной жестокости японцев, как пишут голландцы, а чтобы сам народ и государство были сильны, а не расплозились по всем швам. Женщины должны быть верны и покорны. Мужчина должен быть отцом и мужем, для этого ему нужна уверенность в прочной

семье и в своих детях. Тогда он храбро сражается и любит свою власть. Если отец пренебрегает ради удовольствий своими детьми, то он пренебрежет и своей властью. Ради выгоды!

Колокольцов стал очень умным из-за преданности ему покорной и глупой японки в деревне Хэда. Каким же сокровищем отблагодарит он Японию?

Лесовский, немного откинувшись, слушал переводы и наконец, видя улыбки японцев, прищурил глаз, а другой, поднявши бровь, вскинул на Колокольцова, как бы желая спросить: «Ну что же вы-то, голубчик?»

– Испытать в мастерской эти черепаховые яйца! – объявил Путятин. – Яйца или масло? – спросил он.

– Масло, масло, – враз ответили адмиралу японцы по-русски.

– Дошлый народ! – вымолвил Лесовский.

– А ну позовите Глухарева и Аввакумова!

Пришли матросы-мастеровые.

Японцы внесли приземистый белый бочонок.

– Это хорошее масло, Евфимий Васильевич, – сказал коренастый пожилой унтер-офицер Глухарев. Он в темном выцветшем мундире с красными погонами.

– Ты знаешь?

– Так точно...

– Испытывали целую неделю, – вымолвил унтер Аввакумов, высокий и костистый, с рыжими усами, переходившими в бакенбарды. – Жир годится для спускового устройства, Евфимий Васильевич!

На пустыре, напротив ворот лагеря, на масляной была карусель, на которой расставили по кругу рубленых топорами коньков и драконов. Можайский и Григорьев расписали балаган и навес. Скрывшись за занавеской, матросы лупили в бубны, а Янка Берзинь и Иван Лопасов по очереди жарили в гармонь. Самурай Ябадоо привел своего быка, и тот ходил по кругу, поворачивая скрещенные балки с осью, смазанной черепаховым жиром, и карусель кружилась со всей массой забравшихся на нее японских детей. Катались и матросы. Васька Букреев прыгивал и колесом, с рук на ноги, носился вокруг балагана.

– Яся! Яся! – кричали хором мусмешки⁷.

Шиллинг объяснил чиновникам, что карусель – не христианский обряд, не имеет никакого отношения к религии, а народный предвесенний обычай, шутка, веселье.

– Надо полагать, шхуна сойдет, Евфимий Васильевич, – сказал Аввакумов.

Путятин догадывался, что у Эгава, конечно, есть еще дела. Не приехал же он из-за черепахового масла. Сразу не скажет, а потом обмолвится, как бы невзначай. Гору мне на плечи взвалит! Эгава – актер трагический, глубокий, мощный!

– Пожалуйста, обедать со мной, Эгава-сама. Сегодня плохая погода, на шхуну с вами не пойдем. По воскресеньям офицеры у меня обедают.

Офицеры, входя, щелкали каблуками, почтительно здоровались с адмиралом и с японцами.

Перешли в обширную комнату и стали рассаживаться за длинным столом.

На стене висела старая картина Эгава – на шелку изображена грозная Япония в потоках и скалах, с клубящимися облаками. Европейцы могли догадаться, что подразумеваются острейшие мечи, жестокость, коварство, дух бусидо⁸.

Эгава застыдился втайне и за себя, и за гостей, глядя на картину не своими глазами и думая про нее не своим умом.

⁷ Девушки.

⁸ Кодекс чести японского воина.

Английский лейтенант, игравший у себя в каюте на виолончели, сказал однажды переводчикам в Нагасаки, что японские художники одарят Европу светом совершенного мастерства и новизны, особенно хорошо графическое изображение движения... Это не совпадало с мнением Урусова.

Русские говорят, что живут у себя богато, а требуют от художников изображения страданий бедных, обездоленных. Как всем угодить?

От жены Путятин-а шли прежде письма с французскими штемпелями. В последнем – на Шанхай – писала, что родила благополучно. А в сентябре получил письмо на устье Амура через Петербург. При первых известиях о возможной войне она переехала с детьми в Россию, как и было условлено, как я ее учил! Живет в нашем имении, в здоровом климате.

...Вот и у меня, как у посла Тсутсуя, маленькая дочка родилась. Но мне все же не восемьдесят, как ему. Мне только еще под пятьдесят. Однако неужели японцы так плодovitы? Вот про Тсутсуя действительно можно подумать что угодно. Но не про меня!

Мэри писала из Парижа в Министерство иностранных дел Сенявину, как я ее учил перед отъездом, просила, чтобы ей разрешили взять с собой в Россию француженку, французскую подданную – горничную, к которой она привыкла. И, слава богу, разрешили, к пустякам не стали придирались. «Мэри, моя милая Мэри» теперь живет спокойно. Дочь английского адмирала Ноулса привыкла к нашему имению под Новгородом. На время войны все сношения с семьей отца прерваны. А теперь и со мной прерваны. Жаль ее!

– О чем же дальше, Эгава-сама? Много ли дел накопилось?!

– Как вам будет нужней и удобней, Путятин-сама, – ответил дайкан. – Осмелимся завтра беспокоить ваше превосходительство... Феодалы князья в Японии очень богаты и очень влиятельны. Верны бакуфу, но совершенно самостоятельны, власть у них большая.

«К чему бы он?» – подумал Путятин и сказал:

– Да, еще нам нужны будут краски разные, но неядовитые, чтобы выкрасить три тысячи яиц. Убедительно просим прислать!

– Мы здесь живем и строим корабль на земле князя, который живет в ближайшем городе. Образованный даймио⁹. Может служить образцом японского рыцаря.

– И любознательный? – спросил капитан.

– Да... Конечно. Это его земля.

Два матроса в белых перчатках вынесли опустевшие серебряные блюда из-под жаркого и ведерца с растаявшим льдом. Подали десерт и сладкое вино. В лагере заиграл духовой оркестр.

«Это вальс!» – Эгава-сама знал.

Пока пили чай и курили трубки, оркестр грянул польку-бабочку. Гости заметно повеселели.

Эгава знал, что даже войска правительства, скрытые в лесу у всех трех дорог, ведущих в деревню Хэда, и те любят у себя на горах послушать, когда внизу у моря поют трубы эбису.

Эгава, глубоко затягиваясь дымом, сказал, что большая часть деревни Хэда принадлежит князю Мидзуно из города Нумадзу.

«Следовало бы их bow out¹⁰, выпроводить с почтением», – полагал Лесовский.

– Когда князь Мидзуно сюда приедет, то, конечно, очень восхитится, увидя, что строится шхуна.

– Да разве он еще не знает? – спросил Степан Степанович.

– Наверно... знает... – смутившись, ответил Эгава.

– Ври, брат, да знай меру! – сказал по-русски капитан и остерег Шиллинга и Гошкевича: – Не для перевода, господа!

⁹ Князь.

¹⁰ Буквально: поторопить с поклонами.

– Словом, им нужно, чтобы мы построили второй стапель и заложили для них вторую шхуну! – заявил Путятин.

Словно вспомнив свое английское воспитание, адмирал умолк, взглянул на гостей и выпрямился, как проглотил аршин.

Затараторил представитель правительства Уэкава Деничиро. До сих пор он сидел как в рот воды набрал. Бестия, ловкий чиновник, приказная лиса. Молод, а далеко пошел. Заказал себе недавно европейский мундир у нашего портного. Сказал, что изобретает образец формы для будущего флота.

Уэкава сказал, что это очень важно. Правительство будет благодарно. Со своей стороны выполнит все обещания перед возвращением морских воинов на родину.

Что он хочет этим сказать? Что не выпустят нас из Японии, если не заложим вторую шхуну? Брат, шалишь, тогда не рады будете! Да до этого не дойдет. Не зря весь флот зовет Путятин твердолобым англоманом.

– Это невозможно! – процедил Евфимий Васильевич сквозь зубы, и глаза его как бы затянуло серым туманом.

Как европейцы умеют лицемерить! Как глаза их изменяются от важности. Где их учат?! Из разных стран прибывают, а лгут совершенно одинаково, словно росли вместе. Когда отказываются, то строго, достойно и с важностью. Уверяют, что наши друзья, а что японцы лгуны, лицемеры и коварны! А вот он был такой добрый старичок и сразу же возвысился.

– Когда у вас будут люди, знакомые с началом западного судостроения, они смогут начать постройку подобной шхуны сами. Пока мы не можем. Мастера нужны самим на основном и главном, что строится под моим командованием с соизволения и при покровительстве и содействии высшего императорского правительства Японии – бакуфу, за что мы нижайше вас благодарим. Так что вам не о чем беспокоиться!

Вот так и съехал с английского приема на японский! Господи, на что только не приходится пускаться русскому человеку!

В лагере музыка играла так весело, что, несмотря на разногласия, все простились ласково и любезно.

– Вы японским плотникам работу задали? – спросил адмирал у Колокольцова, проводив гостей.

– Мидель-шпангоут и поворотные шпангоуты будут закончены нашими мастерами. У нас хороших плотников всего пять человек.

– А здешние плотники справляются?

– Они работают очень аккуратно. Некоторые точнее наших...

Старшего офицера Мусина-Пушкина в душе взорвало. И так говорит русский офицер! Да как могут японцы работать точнее наших, не зная европейского судостроения! Вот к чему приводит молодого человека знакомство с японочками.

– Убедитесь сами, Евфимий Васильевич!

Мусин-Пушкин гордится, что он Пушкин и что он Мусин. Один из Мусиных-Пушкиных знаменит тем, что нашел древний список «Слова о полку Игореве» и перевел с древнеславянского. Другой – попечитель Санкт-Петербургского университета. Еще один – известный военный деятель. Надо полагать, что теперь станет известен моряк. Если бы каждая семья давала обществу столько полезных деятелей! И что это за привычка видеть лучшее в чужих и находить во всем превосходство перед своими. Даже в японцах, во что пока не верится. Что за болезнь, что за мания! Или же объяснять каждый талант в русском человеке примесью чужеродной крови! Это уже скотство! Свины под дубом! У нас чуть кто выдвинется из своих, тут же ему ноги переломают.

Татноскэ, маячивший у входа, внимательно вслушивался в спор, кое-что понимая; иногда он удивлялся, как неосторожны западные иностранцы. Говорят обо всем открыто, даже об

ошибках и недостатках, не стесняясь японцев. От очень большой самоуверенности, но может быть, от честности. И то и другое может их подвести.

Офицеры и юнкера расходились из храма Хосенди.

– Как барометр, господа?

– Все еще стоит низко.

Среди туч едва проступало солнце. За каменной косой большая волна в красной пене ударила в риф или в мель и медленно стала бухнуть, а потом разливаться, на ней поднялся розовый веер, потом все опустилось в море, оставив в воздухе розовую пыль.

Другая совершенно красная волна опять ударила во что-то. Там, как плавучий остров, под берегом дерево-гигант необыкновенной толщины. Такие морским течением приносят к берегам Идзу с Филиппинских островов, где растут великаны с мягкой и плавучей древесиной. Волны бьют в дерево, среди водяной пыли загораются радуги. Опять пошел дождь.

– Скажи мне, кудесник, любимец богов, – входя в офицерский дом при храме Хонзенди и обращаясь к Сибирцеву, сказал покрасневший от ветра Константин Николаевич Посьет, – что сбудется в жизни со мною?

Он снял перчатки, плащ и поздоровался.

– К нам пить чай, – ответил Сибирцев. – Какие новости?

– Едет феодальный князь – рыцарь. Феодал здешнего герцогства.

– Qui¹¹, – ответил барон.

Татноскэ обрадовался Посьету и заговорил с ним по-голландски.

– Князь-сердцеед? – спросил Посьет, предлагая курить.

– Да, да. Конечно, – отвечал Татноскэ, принимая сигару.

– А дождь опять пошел. Сильнее вчерашнего, – заметил Пушкин, стоя в раздвинутых дверях и глядя, как вода заливает двор, капли скатываются по стекловидным листьям, на лужах пошли пузыри.

Он повернулся на каблуках и подошел к молодым офицерам, собравшимся вокруг Посьета у низкого столика.

– Феодалы здесь всесильны, как в Европе в Средние века! – объяснял Гошкевич.

Утром, по дороге в храм Хосенди к адмиралу, Шиллинг, знавший по-голландски, сказал, что Татноскэ вчера ввернул, будто феодализм и у них принадлежит прошлому.

Адмирала в «кают-компаниях» не было.

– Может быть, князь едет с каким-то секретным поручением? – спросил мичман Зеленой.

– Господа, не будьте Добчинским и Бобчинским... – ответил капитан.

– Он явится как снег на голову.

– Нет, это не в их обычаях.

– Князь приедет с семьей? – спросил Гошкевич.

– Да, – ответил переводчик.

– Или один? Без семьи?

– Это не из пустого любопытства, Татноскэ-сан. Надо знать заранее, независимо от этого подготовиться, – сказал Посьет. – Хотели бы с почетом принять благородных гостей, как у нас принято. Согласитесь, если он приедет с семьей, с великосветскими дамами, это обязывает.

– А как вы желали бы? – живо осведомился японец.

– Желательно принять его сиятельство со всей фамилией.

– Если погода будет хорошая, дадим концерт! Во дворе разместим оркестр... – сказал Лесовский.

– Да что же будем играть, Степан Степанович?

– Для князя? Бетховена!

¹¹ Да (фр.).

– Польку! – сказал Пушкин. – А еще лучше – плясовую. Скажите капельмейстеру. Матросы разутешат этого князя лучше нас.

– Но для феодала нужно что-то классическое. Хорошо бы начать с Моцарта, «Турецкий марш»...

– Берлиоза.

– Вальсы надо, польки.

– Верди, господа. Большой дивертисмент. А уж под конец – плясовые.

– А как обед? Французская кухня?

– Да... Еще. Подумайте, господа, об угощении... – выходя из-за алтаря, из двери собственной комнатки, сказал Путятин.

Все встали, японец низко поклонился.

– Что думать, Евфимий Васильевич, когда у нас своих людей скоро нечем кормить будет.

– Как это? Да побойтесь Бога, Александр Сергеевич!

– Да вот так! Чем прикажете кормить? Работать или поститься. Одно из двух... А разговор про балы и приемы, мне кажется, пока можно бы отложить...

«Хорошо еще, что редьки дают вдоволь, – подумал Путятин. – Редька черная хороша. И тушеная. И по-нашему и по-японски – с их растительными маслами и соусами. Я бы сам охотно просидел весь пост на редьке. «Бедный, белый, беглый бес убежал, бедняга, в лес и по лесу бегал, бегал, редькой с хреном пообедал!» – вспомнил адмирал стишки. – Сочинено, чтобы детишкам легче запомнить слова с буквой ять...» И сам он вырос и состарился и все бегаёт и бегаёт по свету, как бедный, белый, беглый бес! «Да, вот я все в плаваниях и все при беспокойном деле... А почему бы мне не сидеть в Петербурге в кресле? Знаю языки, отлично заключал договоры, всю жизнь исполнял поручения за границей. У меня связи в европейском обществе. Однако не я, а Карл Нессельроде канцлер и министр иностранных дел. Он мой покровитель – милый немец! Всем мил! Да почему я не его покровитель? У нас все же нет справедливости и нет порядка! Сядет ли Путятин в Петербурге военным министром или министром иностранных дел?»

Посыет объяснял японцу, что русский матрос любит молиться.

– Если народ наш не молится, то и не может работать.

– Так же, как у нас, – отвечал японец.

– Поэтому мы еще не можем начать второй стапель. Матросы – воины. Их учили сражаться и умирать за императора. Они всегда готовы умереть. Это их обязанность!

– Умереть не рассуждая?

– Да.

– Это ясно. Вполне согласуется. Это значит общечеловечно: умирать не рассуждая!

Но Деничиро настойчиво требует от переводчиков неустанно напоминать о второй шахуне.

...Путятин был еще молодым человеком послан в Англию с согласия государя. Главный морской штаб дал Путятину поручения. Прожил в чужой стране годы, все исполнял как нельзя лучше. Нессельроде даже удивился.

Молодой адмирал сошел с парохода, прибывшего из Англии, в жестком белоснежном крахмале, широком шарфе, с черным атласом на лацканах пальто в тон шелку цилиндра, в первой седине на висках. Его фигура в штатском платье, сшитом лондонским портным, казалась вылитой из чугуна. Брак с англичанкой, почти безукоризненный «королевский» язык, тесть – один из высших чиновников английского военно-морского ведомства! Все, все для начала карьеры! Но Путятин не чиновник, никогда им не был. Он плавал и сражался с молодых лет. Он боевой офицер и ученый-исследователь. Зная, куда идет развитие в Европе, куда направлены интересы морских держав, Путятин подал записку государю с просьбой разрешить ему идти с эскадрой на Восток для открытия Японии, а это значит и для исследования устьев Амура.

О чем мечтал смолоду. Тут-то ему вставили палки в колеса. Свои же. На много лет. Опять Путятину посылали в Англию. Тесть там в нем души не чаял.

– А чем же князя угощать, если у нас нет ничего? – рассердился Лесовский. – Редькой?

– Сказать Ивану Терентьевичу, пусть выберет плясунов и сам спляшет с бубном. Поварам испечь пирог, приготовить пирожные послаще. Сахар есть? Сладкое вино есть у нас?

– Американского вина еще пять ящиков, Евфимий Васильевич!

– Пригласим князя на шхуну, покажем работы.

– Его сиятельство едет действительно с секретным поручением, – сказал Татноскэ, – чтобы попросить о закладке в его присутствии второй шхуны. В противном случае он от нас... может потребовать совсем прекратить работы. У него много воинов. Мы находимся на его земле. Это тайна, и я вам ничего не говорил...

– Что-то вы путаете, дружок, – ответил Посьет. – Как у нас говорится: ври, да знай меру! Мы под покровительством бакуфу как посольство великой державы.

– Я вас понял, капитан Посэто.

Почти через час после того, как стих звон колокола в буддийском храме, возвещавший начало утра и восход солнца, из ворот лагеря под гром труб и барабанов на работу и на плац-парад, как теперь называли утрамбованный пустырь из-под рисового поля, пошагали отряды матросов.

Когда в деревенскую улицу вошла рабочая команда, дети и взрослые высыпали посмотреть. Молодые матросы цепкие, ловкие, все хорошо работают, это известно. Оттого что все жители благожелательны, а молоденькие японки в восторге, матросы еще удалей, в этот хороший день в их маршировке являлось щегольство.

Ребенок пробежал между рядов, матрос Янка Берзинь вскинул его на руки. Мальчик горд, сияет. Мать его тут же, она видит, что он не плачет, счастлив, с важностью посмотрел сверху на полицейского офицера. Мать знает, что детей матросы балуют. Янке весело, его вздернутый нос задрался еще выше.

Танака-сан улыбается, но в душе недоволен: никакая полиция тут не удержит...

Пока рота за ротой матросы двигались из ворот лагеря, Уэкава Деничиро и Эгава Тародзаймон во главе целого отряда чиновников поспешно входили в ворота храма Хосенди. Эгава и Деничиро с переводчиками поднялись по ступеням, а свита, как обычно, расселась по двору со сложенными зонтиками. Оба японца, казалось, были чем-то взволнованы и попросили, чтобы адмирал их принял.

– Что-то у них случилось, Евфимий Васильевич, – доложил адъютант. – Оба прибежали, словно их ядовитая муха покусала.

Японцам подали чай и сласти. Посьет, Лесовский и Гошкевич уселись с гостями.

– Наши японские инженеры, – заговорил Эгава, – построили большой европейский корабль.

– Какая радость! Но вы говорили, что он строится! – заговорил Лесовский. – Так уже построили?

– Да.

– Сами? – спросил Посьет.

– Да.

– Тогда вам не надо вторую шхуну! Поздравляю вас! Корабль вполне готов?

– Но... корабль большого размера и не может сойти в море, – сказал Эгава, и застарелый всхлип вырвался из его горла.

– Почему? – удивился Путятин.

– Об этом хотим посоветоваться.

– Погодите, господа! А ну объясните толком... Дайте ему бумагу. Вот вам бумага, Эгава-сама. Нарисуйте-ка на память ваш корабль, обозначьте размеры, где стоит, какой уклон к морю, какое расстояние от воды, и объясните, как предполагаете спускать.

Эгава взял кисть, но не стал рисовать. Он печально сказал, что корабль построен не на стапеле, его борта по мере возвышения окружались лесами и в них упирались деревья, – это, конечно, применимо, когда строится маленькое судно. Корабль стоит на земле, от воды далеко.

– Мы выслушали вас, Эгава-сама, – сказал Путятин. – Надо этот корабль разобрать. Потом вблизи воды построить такой же стапель, как у нас, и на нем собрать корабль снова. Иного выхода нет. Лейтенант Пещуров проводит вас к Колокольцову. Он вам все объяснит. Скажите ему все откровенно, как вычислялись центры, какие размеры, заданная осадка. К Колокольцову, господа! Что еще?

– Больше ничего. Спасибо.

– Кто строил корабль? – спросил Гошкевич.

Ему поклонились, но не ответили.

– Почему же вчера не сказали об этом?

– Нам надо спешить на родину, – сказал капитан. – Не можем вами заниматься. Некогда. Не вы все будете решать и не ваши князья. Только мы. По согласованию с правительством бакуфу... Так приказал Путятин-сама! С богом, господа, ступайте к Колокольцову!

Уэгава и Эгава с чиновниками и Пещуровым отправились к длинному деревянному дому местного самурая Ябадоо, в левом крыле которого располагалась «Временная канцелярия бакуфу на стройке западного корабля».

Колокольцов пил утренний чай у Ябадоо в правом крыле этого же старого дома под соломой. Пещуров зашел к нему на минуту. Кокоро-сан велел слуге-японцу передать чиновникам, что надо обождать. Оба японца терпеливо ждали.

Деничиро заметил, что Эгава внимательно следит через окно сквозь раздвинутую раму с бумагой в решетнике за чем-то происходящим во дворе. Высший чиновник заглянул туда же. Во дворе цвело много весенних цветов. За их грядой под навесом из почерневшей соломы, на старой веранде, где раздвинуты черные от дождей наружные рамы из еловых досок, а задние – в цветной бумаге – убраны совсем, у внутреннего входа в ту часть дома, где жила семья хозяина, стоял Кокоро-сан. Старик Ябадоо, заглядывая ему в лицо, подобострастно и ласково что-то говорил, как бы стараясь удержать хотя бы ненадолго, с нежностью гладил рукав его голубого американского мундира, выше золотых пуговиц у руки, но ниже красивых нашивок на плече. Старик выказывал Кокоро-сан ласку, как сыну. Или зятю...

Деничиро встал, путаясь в халате и поеживаясь, как бы показывая, что зябнет, вежливо притворил окно в непрозрачной бумаге, чтобы не дуло. Доносов в таких случаях и он не любил. Нехорошее дело, если напишут. Он как бы отдал соответствующее указание дайкану.

Пришел Колокольцов. Ему все объяснили. Александр уже знал все от Пещурова.

– Снять обшивку со шпангоутов¹². Разъединить люферы¹³, бимсы¹⁴.

Эгава совсем померк. Да строилось-то не так! Не было ни бимсов, ни люферсов! Ни футоков...¹⁵

Ябадоо тут же. Он такой тихий тощий старичок. Очень почтительно молчит.

...А в салоне толковали про князя.

– Эгава рекомендует его как очень порядочного и благородного красавца рыцаря, – говорил Посьет.

¹² Ребра корабля, основа его каркаса,

¹³ Внутренние крепления остова корабля.

¹⁴ Крепления, соединяющие концы шпангоутов.

¹⁵ Части деревянного шпангоута.

– Что же еще нашему Эгава остается! – отозвался Лесовский.

Оказалось, что Татноскэ опять сидит у стены на корточках, как бы погруженный в глубокие размышления. Его заметили все как-то вдруг. Татноскэ вышел из полутьмы и сказал, что Эгава-сама разрешает офицерам, по их желанию, охотиться в лесах. Посылаются опытные стрелки для охоты на кабанов, мясо которых будет предоставлено морским воинам. Можно с японцами вместе поехать на охоту.

Вечером адмирал обратился в лагере к построенному экипажу с речью. Сказал, что наступает пост, напомнил о христианском долге, о нравственной силе Русской православной церкви, о том, что сам он будет поститься и молиться за всех.

– Кто же из вас, братцы, в пост хочет есть постное, рис с редькой, пусть объявит унтер-офицеру для доклада по начальству. Кто не будет поститься, тому, по моему приказанию, будет даваться пища скоромная: мясной стол, кабанина, жирная рыба.

По рядам началось чуть заметное оживление, словно налетевший ветерок слегка зашевелил молодые, крепкие деревья.

– Если всем вам поститься, то не хватит сил для работы! – подлил масла в огонь Евфимий Васильевич.

Стоявший рядом с Путятиным священник отец Василий Махов, взятый в плавание из курской деревни, утвердительно покачал окладистой бородой.

Глава 4

Первый шпангоут

Развилыны молодых сосен сцепились друг с другом. Этот клубок одревеневших драконов плотники растаскивают, вытягивают из него штуку за штукой. Надо делать ребра корабля. Как это получится? Трудно сказать, хотя понятно. Дело требует от плотника умения и новых знаний.

Таракити стремится, как воин, в битву, но чувствует, что пока умения еще недостаточно. Повязка, схватывающая жесткие волосы Таракити, надвинулась на глаза, пришлось поправить.

Таракити знает, лицо его очень некрасивое, скуластое, короткое, с вдавленной переносицей, как у глупого человека. Сможет ли он стать счастливым? Очень обидно, если нет.

Как известно, есть лица длинные, формы дыни, это идеал красоты. А лбы высокие. Когда человек много думает, то лицо удлиняется, морщины ложатся между бровей. Когда князь сражается и побеждает, то на лице появляется выражение гордости и сохраняется после войны, словно он продолжает побеждать всех домашних и подданных.

У хэдских крестьян и рыбаков от постоянных забот, от тягот и безденежья на лицах сохраняется выражение испуга и лукавства; каждый должен как-то прожить, хотел бы получше, но это запрещается. Поэтому иногда приходится плутовать.

Когда Таракити строгаёт доску, то старается все делать аккуратно, тщательно, опасается ошибиться. Маленькие глаза совсем сощурены, хотя смотрят остро, щеки напряженно приподняты, все вместе придает кислое выражение лицу. Оно становится как бы еще короче и тупей. К своим домашним он является с таким же выражением. Это замечают соседские девицы и подсмеиваются.

Цвет лица у Таракити свежий, смугло-розовый. Шея его открыта. Он в коротком халатике. Плотно затянут кушачком, в коротких штанах, на ногах соломенные подошвы на петлях и синие матерчатые носки с большими пальцами наособицу.

Ухватившись за толстую сосновую лапу, Таракити рывками раскачал ее, потом повернул, как рычаг. Вся груда раздвинулась. Не опуская находки, молодой плотник потянул кривой ствол, бесстрашно перешагивая по оседавшим деревьям.

Нашел подходящий кусок сосны!

Таракити недавно назначен старшим артели. Он не досаждал своим рабочим и не придирается. С утра скажет, кому что делать, но не учит. Все сами должны уметь.

Приложил лекало к сосновой кривулине. Оказалось, что подходит. Но лекало, вытесанное матросом из доски, не нравится.

Кокоро-сан – самый главный на стапеле из офицеров – учит: части шпангоута делаются точно из двух или трех частей, точно как указано на чертеже и на лекалах. Выдающиеся зубья одной части должны входить в пазы другой. Все вместе держатся как единое целое. Ясно. Вполне выполнимо. Вызывает чувство гордости у каждого плотника. Но перед работой надо подумать.

Таракити оттащил кривулину под навес, достал пилы, циркуль, нанес размеры с лекала на сосновую штуку и задумался. Он сидел на корточках, лицо его еще напряженнее сморщилось, словно мысль пока была очень мелкой, ее еще трудно рассмотреть.

Матросы вытесывали части шпангоута топорами, как и лекала. Таракити достались разные пилы. Отец учит, что плотники могут выпилить что угодно и что части европейского корабля надо делать пилами, а что топорами точную работу делать неприлично. Очень трудно будет выпиливать большие футоко. На постройке европейского корабля приходится защищать достоинство хэдских плотников. Даже иссохшее от работы, привычное тело тут к вечеру выпотеваает и смердит, как быстрая казенная лошадь своим конским потом после скачки с докумен-

тами; без кадушки с горячей водой вечером невозможно обойтись. Отец сам работает теперь, но каждый вечер спрашивает, как идет работа, и дает полезные советы.

Построен навес, и под ним верстаки. Но там делаешь чистую работу, отделку. Кривулину не положишь на западный высокий верстак, да и неудобно.

Таракити размерил сосновую штуку, отпилил лишнее с обоих концов, подстелил рогожку, уселся на нее и зажал отрезок сосны обеими ногами, как клещами. Получился станок, очень удобный. Таракити прикинул, как начнет. Но пилить не стал, поднялся, стал перебирать инструменты: железный треугольник с нанесенными на него делениями, коробку, в которой помещалась тушь в баночке, из нее растягивалась нить с колышком на конце – все отцовские изделия; еще очень простой прибор, похожий на длинную, аккуратно отделанную гибкую лучину. Гнется как угодно, можно провести по дереву любую кривую линию. Все пригодится.

Таракити недавно сделал себе западный циркуль, раздвижной, с перелаamyвающейся ножкой для больших измерений. На железной линейке плотника с одной стороны нанесены японские меры с японскими обозначениями, а на другой – западные деления и цифры.

Таракити спрятал в рукав листки бумаги. Чернильница с тушью и кисточкой у плотника всегда за поясом.

Лекала рубятся топором, а разве может быть точной топорная работа! Шпангоут надо делать по лекалу. Нельзя лениться, когда являются такие соображения.

Плотник отправился на плаз¹⁶.

Вот они, заветные ступени, ведущие в мир, где царят чистота, точность и образцовая аккуратность! Таракити разулся на ступенях и взошел наверх.

Целыми днями офицеры и юнкера работали в большом доме Ота в деревне, сидя за столами или лежа на животе. И все чертили и чертили очень старательно. Теперь все чертежи перечерчены на полу плаза. Черное золото солнца отражается в лаке настила, где мелом выведены цифры и линии. Изображены все части строящегося судна, все его обводы, шпангоуты, футоки и бимсы, и все точно в натуральную величину. Само судно изображено сверху, сбоку, спереди тоже в натуральную величину, но может показаться, что не хватало места, так много линий положено друг на друга. Приходится разгадывать, распутывать. Все части корабля изображены с разных сторон, чтобы все измерения можно было видеть и снять размеры для поделок. Частей одинаковых, кажется, нет или очень мало, поэтому все исчерчено и испещрено, сначала кажется ужасной путаницей и неразберихой. Какие-то клеточки, масса пересекающихся линий и делений, рябит в глазах, как мелкие птицы в перелет, рассыпаны цифры.

Но если внимательно всмотреться и подумать, то в этой путанице прямых и кривых линий, пересекающих друг друга, как на огромной паутине, среди массы цифр можно отлично разобрать точно изображенные части будущего судна. Тут неразбериха только кажущаяся, как в столичном городе, но в то же время большой порядок и за всем наблюдается строго.

Очень интересное занятие – рассматривать чертеж и понимать его. Западные цифры Таракити изучил сразу. Он нашел свой шпангоут. Все части его изображены. Колокольцов сказал, что эти части называются футоко.

Плаз накрыт крышей, и есть стены. Таракити любит этот плаз, как влюбленный суженую. Вот футоко, который сегодня должен начинать Таракити. Если бы Таракити позволили, он бы часами тут стоял, все рассматривал бы чертежи, все записывал и срисовывал. Но ему строго приказано исполнять то, что задается. И все. Если тут задержишься, то один из шпионов, представленных для наблюдения за плотниками, начнет составлять на него письменный отчет о том, что плотник провел слишком много времени зря на западном предварительном сооружении.

Отец всегда учит, что надо быть послушным и молчать. Это, конечно, так, но трудно.

¹⁶ Помост или настил в помещении дока, на котором в подлинных размерах вычерчены все части корабля.

С плаза жалко уйти. Место блаженства, лучше, чем в роскошных садах или во дворцах, про которые знаешь из книг и сказок. На покрытом черной краской полу разложены драгоценные знаки, которые для Таракити дороже золотых и серебряных слитков.

На плаз поднялись Кокоро-сан, дайкан Эгава, Ябадоо, барон-сан и переводчики.

Эгава на плазе не впервые, он видел, как все это готовили. Всюду цифры, цифры... Эгава тоже любит бывать здесь, но огорчается. «А мое правительство требует найти виноватого и наказать, чтобы все боялись соприкасаться с эбису! – подумал дайкан, замечая Таракити с инструментами в руках. – Проверять, узнавать, не верить. Все обязаны подозревать друг друга для взаимного спокойствия и общего благополучия!»

Какая масса цифр! С чертежей все разносили унтер-офицеры, специалисты этого дела. Но тут же целыми днями гнулись или лежали на брюхе и трудились русские самураи, рыцари, князья и сам родственник императора России тоже. Им потом иногда есть не хотелось. На женщин не смотрели. Приходили домой, падали в свои постели, засыпали как убитые.

Они так стараются из верности императору, из страха перед своим правительством. Также из желания скорее уйти из нашей страны и сражаться на войне. Из желания показать, что с ними можно жить в согласии. Это хитрость? Или привычка к порядку невольно выражается в их старательном труде? Все же что-то высшее вдохновляло их, хотя всегда и во всем заметно было стремление показать знания и умение.

Две недели прошло с тех пор, как Путятин заключил договор и вернулся в деревню Хэда. Он пробыл до этого в городе Симода почти месяц. Первые уроки плотникам Колокольников давал до отъезда в город. С тех пор японские мастера судостроения многому научились. Эгава обо всем получает доклады, где бы он ни был. Сообщается все, до глупых мелочей.

Лейтенанта Колокольцова японцы называют Кокоро-сан. Русский офицер, высокого роста, очень молодой, очень серьезный. Еще у него есть прозвище: Железный Прут. Распоряжения отдает спокойно. Если задает что-то новое, то объясняет через переводчиков, а потом приказывает усатым морским плотникам показывать, что и как делается. Неизвестно, улыбается ли когда-нибудь Кокоро-сан? Он всегда строг.

Ябадоо-сан заведует судостроением от японцев, а Кокоро-сан – от русских. Но они еще не главные заведующие, хотя распоряжаются всем сами очень умело и делают все самое нужное и основное.

Вчера шел дождь, и Александр приказал японцам растянуть несколько рогож над стапелем. Под таким прикрытием оставил всех работать.

К каждому японскому мастеру, по приказанию правительства, приставлен чиновник с саблей, в форменном халате и с косичкой на бритом темени. Все чиновники – лица очень незначительные, но записаны в государственных документах, все самурайского звания. На первое занятие пришли в храм, полезли вперед, чтобы услышать указания Кокоро-сан первыми, оставили плотников позади. Они должны изучать и запоминать все, чему учатся плотники.

– Вы зачем явились? – спросил Колокольцов. – Подальше, подальше!

Кокоро-сан прилично отеснил чиновников и попросил пройти плотников. Откуда он всех знает по имени? Как научился различать?

Таракити вернулся к своей кривой сосне, очистил ее от корья и, разметив, распилил на две части. На одной тщательно отбил по комлю вытянутой веревочкой, смоченной тушью, черные линии. Это будет нижний футоко, называется ло оер тимберу¹⁷. Таракити уселся на рогожку, прижал обрубок ногами к пню и небольшой овальной пилой с выточенными доостра и разведенными зубьями стал осторожно делать продольный разрез по черте.

Говорят, что у Кокоро-сан есть японская жена. Может быть, напрасно говорят, в это трудно поверить. Наши самураи хотели угодить и нашли бедную девушку? Но говорят другое:

¹⁷ Буквально: нижнее дерево (англ. искаж.).

Ябадоо-сан велел своей дочери стать женой Кокоро-сан. Богатые старики велят дочерям спать с офицерами эбису, чтобы родились дети. Хотят развести новую породу человека во славу Японии! В таком случае русские для них не только кораблестроители.

Не касается дела. Слушая уроки Кокоро-сан и глядя на его работу, ни о чем плохом не хочешь думать. Небывалый и удивительный случай представился. Матрос Глухарев и даже старый Аввакумов со щеками в рыжих волосах также помогают.

Два заморских усатых воина ковали в кузнице скрепки-скобы для кильблоков. Они затянули протяжную песню. При этом вокруг стал все отчетливее раздаваться перестук множества топоров и визг пил. Им отвечали молоты из обеих кузниц.

Матросы всегда подбирали песни по работе. Так ежедневно, если хорошая погода, когда до обеда еще далеко, но уже все втянулись в дело, никто не ленится, и еще никто не устал. Совсем по-другому, потоньше, отозвались на эту песню несколько землекопов, но вскоре голоса слились, и получилось согласно, хотя сначала показалось, что поются две разные песни.

Запели матросы на стапеле. Они влились, как горный поток в большую реку, и присоединились к ним еще многие голоса – в столярке, на верстаках и у козел, в сараях, под навесами и на открытом воздухе, где трамбовали площадку, пилили, строгали, тесали и стучали, и вскоре песню подхватили сотни усатых моряков. Сила и согласие ясно почувствовались, и песня волновала.

Таракити поэтому еще глубже погружался в свое дело, еще сосредоточеннее и осторожнее делал пилой по отбитой тушью черте кривой продольный срез.

Песня становилась еще сильнее и еще шире и выше, – казалось, ее подхватили рубщики в красных рубахах, видневшиеся в лесном ущелье, которое вздымалось зеленой стеной от стапеля к небу. Они там как живые кусты красных цветов на скалах и перевалах. Песня грустная и медленная, но на протяжной песне есть где показаться голосам. Поют и не хрипят, не визжат и не мякают.

Таракити любит пение. Сам не умеет петь, но умеет понимать и чувствовать. Становится молчаливым и никогда не выражает восторга. Работалось под песню лучше. Сейчас показалось, что он счастлив. Как-то странно, словно слезы готовы выступить, но голова становится ясней, и ничто не мешает отчетливо помнить все соотношения каждой из частей футоко. Эти шпангоуты должны стать основой корабля, значит, таким благородным и величественным делом для вдохновляющегося Таракити, как эта песня для усатых морских солдат. Он не может петь, но под их пение может благородно работать.

Немного погодя, когда песня закончилась, за стапелем затянули что-то еще, но по-другому. Вскоре разные песни послышались в разных концах площадки. Тогда под стук своих молотов запели кузнецы:

Ва ку...
Ва ку-узнице...

Густо ударил хор басов:

Ва-а ку...
Ва ку-уз-ни-це,
Эх, ва кузнице – молодые кузнецы.
Эх, ва кузнице – молодые кузнецы.

Опять веселый удалой посвист, на все лады, очень лихой:

...Они ку-ют, приговаривают,

Молотами приколачивают...

Песня оборвалась, а какой-то мастер не остановил работу, вывел молотом по наковальне все ее размеры, как искусный барабанщик. Это Петруха Сизов кузнечит. Матрос очень большого роста, с красивым лицом. Еру ха Си зо фу был смелый матрос, работавший на большой высоте до потопления корабля, – так говорили. На берегу считается мастером на все руки. Очень страшная работа с огнем.

Пойдем, пойдем, Дуня, —

залились высокие голоса. Тяжелые молоты ковали песню поперебой с маленькими.

Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок...
Сорвем, Дуня, лопушок, эх, лопушок.

Пели и пели, и оборвали песню, и еще вывели ее узоры, и подкрепили их ударами молотов, но на этот раз под сплошной залихватский свист.

Сошьем, сошьем, Дуня...
Сошьем, Дуня, сарафан, сарафан...
Носи, Дуня,
Но-си, носи, Ду-уня, не марай, не марай,
По праздникам надевай, надевай...

Песня стихла, остался один свист, очень дружный, словно неслась туча волшебных птиц. Кузнецы делают очень важные вещи. Они, конечно, работают искусно, как и поют.

Таракити вдруг вскочил, взял свой новый циркуль и, быстро шлепая разлохмаченными соломенными подошвами по сырой каменистой почве, зашагал на плаз. Продольные срезы теперь сделаны с двух сторон, и размер части вымерен по всей длине. Интересно проверить, как получилось, еще раз смерить циркулем все на чертеже. Я все же мог ошибиться и не уверен! Даже не верит: неужели все так точно получилось? Нигде не ошибся, ничего не косит? И не сбит размер по длине?

С пристани матросы волокли тяжелую балку и протяжно пели, все время добавляя: «Э-эх, ух... э-эй, ух-нем!»

Если такая песня, то готовится какая-то новая работа. Говорят, матросы скоро начнут делать какие-то полозья, как для огромных саней. У нас нет снега, только на высоких горах. Хотят вести шхуну по песку? Вот какие мысли приходят, когда поют: «Эй, ух-нем!»...

Глава 5

Шинель и гитара

Война уже кипела... все славянские земли волновались и готовились к восстанию.

И. Тургенев. Накануне

Тепло, душно, и сеет дождь. Очень тоскливо... А в памяти Алексея Сибирцева – снежок, огни в окнах в морозную ночь. Ярко освещенные витрины магазинов, скрип полозьев, бег рысаков, запорошенных снегом, снежная пыль.

Тройка мчится, тройка скачет...

Мягко открывается тяжелая дверь, и хрустальные люстры обдают праздничным светом. Наверху, выше мраморной лестницы, слышится и неудержимо влечет грохот бала. Оркестр. Огни и снега. Веера и декольте. Ее локоны. Так тоскливо без сухого морозного снега, без зимнего проспекта в солнце, без сплошного потока светлых русских лиц в мехах, салопах или в овчинах.

Помнится и другая зима! Дождь и туман, пароходы и баржи на реке, огни в мокрой мгле города, убегающие в глубокую даль вереницы голубых газовых рожков. Лакированные кареты, зонтики, плащи, перчатки. Огни над незастывшей рекой, готические крыши и островерхие храмы. Рождество с дождем, и Новый год без льда на реке, заставленной пароходами, фабричные трубы, черные караули дыма ветер гонит через весь город над высокими черепичными крышами к серому небу.

...А на далеком южном краю материка навстречу друг другу идут и идут войска. Наши серые колонны, блестящие штыки. Красные и голубые ряды: драгуны, турки, красные фески, медвежьи шапки, кепи и кивера зуавов. С пароходов по трапам сходят и строятся на крымском берегу.

Вы не вейтесь, русые кудри,
Над моею больной головой...

Алексей приподнялся на кровати и огляделся. Он в японском доме при буддийском храме. Японцы разгородили помещение как бы на восемь маленьких кают для восьми офицеров и юнкеров. Одну большую – кают-компанию – оставили для общих занятий и обедов. Видны балки под крышей. За мутной бумагой окна опять сеет дождь. Не булькает, не льет, а бессильно сеет. Что-то чиновничье есть в этом дожде, будь он проклят!

Вера гордая, высокая, с благородным профилем, но и у нее вырвалось на прощание пылко и с досадой: «Будь они прокляты, твои американцы и японцы!» Она не хотела расставаться. Вернусь ли я? Не встанет ли на моем пути какая-то еще неведомая мне непреодолимая преграда? Еще никогда в жизни Алексей не чувствовал себя таким сильным и мужественным, как теперь. Кажется, он все еще рос, плечи его крепили, он становился атлетом. Эту мощь давали ему путешествия, ветры морей и гор, сознание своего положения и пользы, которую приносишь. Но с такой силой и энергией под Севастополем, а не здесь я должен быть.

Англичане пишут в своих газетах: «От Москвы до Севастополя весь путь усеян костями солдат, погибших от цинги и дизентерии». И еще: «В России развал, мошенничество чиновников, необразованный, не знающий экономики современного мира царь».

...Рядом на постели, на ватном одеяле, – гитара. На стене висит офицерская шинель. А наши войска все идут и идут...

Всюду наши шинели и гитары. Терпение и стойкая скука, и кажется, что по всему миру сеет дождь. Не слишком ли скудно для молодых лет единственной жизни?

«Будь прокляты твои японцы и американцы!» А ведь мы в диковинной стране! Бедняки стараются украсить свою жизнь, за века их научили делать сентиментальные, вычурные украшения ко множеству праздников и невесело радоваться, всегда помня о смерти. Может быть, поэтому они с такой болезненной отрадой тянутся к нашим матросам? И наши к ним?! Степан Степанович говорит, что они не пишут картин и музыки без обязательной изощренной вычурности и что мы со временем тоже создадим такую же китайскую музыку и живопись. И сделаем их обязательными...

Алексей поднял свою мексиканскую гитару и взял первый аккорд. Да, звук что-то не так тосклив, как хотелось бы, и от него не та печаль. Не тот горький слабый звук, что раздается за стенкой офицерских флигелей в Кронштадте или в домике на Васильевском острове, где снимешь комнату... Или в мазанке на Тамани. Может быть, и в Севастополе в морских казармах. Нет, не горькое глухое треньканье отчаявшейся души. Звук сочный, яркий и жестковатый.

...Подарил ты мне
золото колечко...

Начал как можно тише, желая петь про себя и для себя, но струны сами разыгрались и запели живо и горячо, как бы дергая его за пальцы, а в соседней каюте под цыганскую плясовую несколько раз топнул ногами кто-то из офицеров, чуть ли не сам Александр Сергеевич Мусин-Пушкин, показывая, что хотя он и старший офицер, а веселится. Да, это он от скуки хочет показать, что скучать не надо. Его не зовут иначе как Александр Сергеевич Пушкин. И этим развлекаются! Девать себя некуда... Кажется, только в Сибири и на Амуре со временем шинель и гитара приобретут новый смысл.

Алексей отложил гитару.

Вспомнилось лесное село.

Обмерзлая кадушка, деревянный ковш, порог и кошма на двери. Крыльцо, обметенное венчиком от свежего снега, метла на видном месте в сенях, жар избы, мужик стучит рукомылником. Солонка на столе, каравай и горячие щи. На стене охотничье ружье.

Распряженный конь, в курже, полудремлет за бревенчатой изгородью заднего двора, обмерзший колодец как в голубом жабо, белый от инея колодезный журавель, дети катают снеговую бабу. Распряженные розвальни с неразгруженными жердями, и небо в высоких и холодных облаках, идущих, как полосы далеких льдов в холодном море.

Алексей набросил плащ, взял под него гитару и вышел через двор храма на улицу.

Малые домики под толстыми слоями аккуратно выстриженной соломы. Сушится, вялится рыба на вешалах. Пахнет едко соленой рыбой. Это запах прибрежных селений Японии и еще Кореи. Есть тут много общего и с рыбацкими стойбищами на Амуре. Так же ветер подует – и пахнет гнилью с вешал, как где-нибудь в лимане Амура. Так же развешаны гроздьи белой и красной рыбы. Чуть сеет дождь. Но там сейчас все во льдах, замерзшие моря и снега в голубом сиянии.

Алексей Николаевич отлично помнил розовые кедровые домики городка Николаевска, построенного на высоком берегу под тучными сопками вдоль Амура в одну улицу, и тамошний эллинг с полукруглой крышей. А у входа в лиман из Татарского пролива – как у ворот из одного моря в другое – мыс Лазарева – полуостров с узким перешейком в редком лесу, который, как рука, протянулся от материкового берега к Сахалину и держит на самом краю свою причудливую сопку, как гигантский замок с башнями черного камня. Как это близко отсюда, но там теперь казармы и гиляцкие зимовья занесены сугробами по самые бревенчатые крыши. Летом желтая площадь мелкого лимана в вечном волнении. Как черные чернила, льются в

лиман и долго не растворяются в его желтизне чистые воды таежных речек с гор. Собаки, с лысынами вокруг глаз, залают на идущую под берегом лодку, а потом смутятся и спрячутся, словно разглядывают военные шинели. Засунут морды в нарытые за бревенчатыми юртами земляные норы, чтобы не заедала мошка, от которой приходится все время обивать лапами глаза. Мошка кусает все лето, собака теряет силы, зоркость, слабеет ее нюх, она живет подавленная, в ожидании суровой спасительной зимы и всюду отступает... Высунется из норы, еще раз насто-роженно оглянется на пришельцев. Мусин-Пушкин сказал, что эти собаки – как люди, поте-рявшие достоинство и не способные исполнять свой долг или сохранять честь из-за множества житейских неприятностей, гнетущих до того, что только хочется глаза спрятать в свою неглу-бокую нору.

Вот и богатый японский дом – моя чертежная.

В обширном дворе господина Ота большое дерево в почках, скоро зацветет.

– Ареса-сан... здравствуйте!.. – встречая Сибирцева и раскрывая зонтик над его головой, говорила Оюки-сан. – Ждем вас на обед!

Алексей положил ее служанке на протянутые руки клеенчатый плащ.

– Я принес гитару, Оюки-сан, и буду играть цыганские романсы.

– Ареса-сан! Вы – артисто! Я очень рубру! – Ее большие глаза откровенно радостны, как у счастливого ребенка.

Но она не ребенок, у нее большие и красивые руки и ноги, она высока, стройна, из-под желтой накладки черный ливень блестящих волос льется на плечи и на спину.

– Завидую! – сказала Оюки по-русски, показывая пальцем на глаз молодой женщины на портрете.

Чему бы ей завидовать? И откуда она знает это слово?

У всех европейцев над верхним веком есть складка, и это очень красиво. У нее нет такой складки. Поэтому Ареса-сан ее не любит, она не нравится ему.

Алексей понял, догадался.

– Мне кажется, наоборот, у японцев глаза красивей, а у европейцев, как у стариков, над глазами морщина. У японцев – как еще незрелый персик, аккуратно разрезанный надвое.

– Нету прекрасно! Нету мородой!

– Именно молодой! – ответил Сибирцев.

Как она беспокоится, еще не видел ни одной европейской женщины. Он иногда заставлял ее любопытный взгляд на своем лице. Она пристально смотрела на глаза и губы, на щеки, словно хотела тронуть своими длинными пальцами. Все близко и оскорбительно недоступно.

Она прекрасно понимала всю суть его надменной доброты. Она желала бы дразнить его. В далеком загадочном мире западные люди приучаются с молодых лет ко множеству приятных им ласковых ухищрений женщин. Ее никто этому не обучал, не внушал, она не читала об этом, но понимала, что все так. Она чувствует себя бессильной.

Пришел высокий, сухощавый Ота-сан и присел за столик, мельком взглянув на журнал.

– Гонконг? – спросил он.

В Гонконге Сайлес Берроуз и Джексон в черной жесткой круглой шляпе... Свет в тропи-ках ярок, гнетущ, скалы и улицы, верно, белы, при таком солнце серый костюм иногда кажется черным. Откуда знает старик Ота-сан про Гонконг? Интересует их все.

Ота-сан сказал, что благодарит господина Ареса за обучение дочери западному языку.

Отношения Алексея с отцом Оюки-сан очень корректные.

– Как паритико? – спросил Ота по-русски.

«Чем не петербуржец! И чем не делец! Как политика!»

– Паритико дзен дзен вакаримасэн!¹⁸ – ответил Алеша.

¹⁸ В политике ничего не понимаю.

Ота-сан благожелательно рассмеялся. Дочь подала ему чай, отойдя, вытянулась во весь рост и, глядя на Алексея, поежилась, словно озябла.

– «Перед венцом забудь меня...» – запел Алексей и ответно взглянул в глубину глаз Оюки.

Пока он пел, она менялась в лице, ее щеки слабо рдели. Ей казалось, что душа ее падает в пропасть.

Алексей посмотрел на крупное лицо отца Оюки. Старик Ота, кажется, расчувствовался. Сквозь черный лед глаз более не светила хищная сила. Алексею казалось, что сам он готов поддаться сильным и грубым чувствам, что-то словно подталкивало его при виде исполненного боли и слабости, растерянного лица Оюки.

Циники судят по-своему! Могут заметить: мол, ваше юное создание едва владеет собой. Вы, миленький Ареса-сан, не знаете их. Посмотрите на ее отца. Та же натура. Ее темперамент мучает, а вы разводите с ней туры на колесах... Вы, Сибирцев, как собака на сене, отбили красотку у князя Урусова. Да, да – подтвердят из-за загородки в офицерском доме. Что же вы? Не притворяйтесь, вы и сам, поди, небесчувственный!

Неужели вы, Алексей Николаевич, серьезно влюблены? Тогда ваша судьба ужасна. Превратите это, мой дорогой, в светский роман, в развлечение, в пикантную шутку. Не увезете же ее в Россию? Или оставите душевную рану? Ведь у вас в Петербурге невеста... Неужели серьезно?

«Нет, – отвечал себе Алексей. – Нет, совсем несерьезно!»

– Прощайте, Оюки-сан! До свидания, мистер Ота!

– Так рано?

– Спасибо. Благодарю. Я и так засиделся.

– Напрасно...

– Нет, не напрасно. Я ухожу. Я буду еще играть вам потом.

Погода то и дело меняется... Дождя нет. Ветер. У торговца под деревянным навесом фонарь освещает ходовой товар – груды толстых черных палок. Это редька. Ее охотно раскупают за гроши хозяйки. Рядом живые рыбины в каменной кадучке. В соседней лавке мешки риса. Хэдские живут, кажется, довольно сытно. Старик Ота-сан сказал, что год нынче урожайный. После землетрясения и цунами ниспосланы также хорошие уловы рыбы. Высшие силы наказали, а теперь вознаграждают. «А коммерческие барыши?» – спросил Сибирцев. «Об этом еще рано говорить!»

Японки, даже самые прелестные, любят кушанья из редьки. И Оюки ест ее охотно, как голодный ребенок. Невольно заражаешься страстью к редьке. Отсюда легенда в Хэда, что Ареса-сан очень любит редьку.

– Шкаев! – говорит кто-то впотьмах. – Ступай на бак, к дежурному унтер-офицеру. Доложи: я велел десять горячих.

– Слушаю, ваше...

Не было ни кормы, ни бака, ни кают, ни кают-компаний, но остались названия, порядки и привычки. Сохранились законы бака и кают-компаний, кубриков и камбуза. Бака нет, а лупка есть.

Ночь наступала. Сейчас в лагере отхлещут по спине своего товарища, беззлобно, но сильно. Битый встанет, пойдет к фельдшеру. Тот вытрет спину спиртом или смажет.

Усатые унтер-офицеры охраняют порядки. Сами выходили из нижних чинов, а били их же. Это люди цепкие, умелые, грамотные, не чуждающиеся знаний. Сила надежная, как сталь. Унтера следили строго за каждым шагом матросов. Идут матросы на работу – ни на шаг нельзя отстать. Чуть что – по роже. Смотрят за людьми юнкера и офицеры. Чужая страна, чужой народ вокруг.

В кают-компаний, в облаках табачного дыма, видна чья-то вскинутая над лампой рука.

– Что же теперь говорить о войне двенадцатого года!

Что тут обсуждалось? Какая новость? Скорее всего, старые сведения, случайно дошедшие через американцев.

Алексей переоделся у себя в каюте и вышел пить чай.

С театра войны нет известий, достигающие отрывочные сведения скупы. Но у всех душа болит, все думают о войне и нередко безошибочно угадывают заранее то, что еще не известно никому.

«Malakhoff, Malakhoff, Malakhoff!»¹⁹ – в каждой английской газете.

В этот вечерний час все мыслями в Крыму, словно именно сейчас там происходит решающая битва.

Молодые люди с молоком матери впитали понятия о воинском долге и чести. В каждой семье мужчины из поколения в поколение служили в армии, гвардии и флоте, ходили в походы, участвовали в сухопутных и морских сражениях. Но у каждого свои понятия, свои претензии, счеты с выскочками, со штабными льстецами и карьеристами, с придворной камарильей. В дымном воздухе вдруг задрожит что-то зловещее, синее или красное, воодушевленное и облагороженное идеями гуманности, рыцарства, товарищества, испытанного не раз перед лицом смерти. В плавании нет повседневных мелких счетов и расчетов, нет барщины, оброка, приказчиков, нет чиновников, малых и больших, понятие о родине и высшей власти чище и возвышеннее.

– Паскевич? Меншиков? Кто же командует? При упоминании о светлейшем князе Паскевиче вскочил юнкер Урусов.

– Господа!..

Дядя его в бытность молодым офицером, выполняя срочное поручение государя, вошел без спроса к командующему, когда тот отдыхал. Паскевич запустил прямо в лицо ему сапог со шпорой...

– Где же теперь, господа, эти старые вельможи, эти самодуры? Им вверена жизнь сотен тысяч солдат и наша честь!

Все ждали, что теперь в России все начнет меняться. Под ударами дальнобойной артиллерии, под действиями паровых флотов! Но быют не по графу Гейдену, не по князю Паскевичу и не по Меншикову. Гибнут многие тысячи людей.

– Паскевич близок государю, господа, – сказал Лазарев.

– Что вы глупости говорите, юнкер! Аракчеева было велено выбрать почетным членом Академии художеств под тем предлогом, что он близок государю... Академики заявили, что кучер Ильяшук еще ближе к государю, чем Аракчеев... И отказали, – сказал старший офицер Мусин-Пушкин.

«Прав один из путешествовавших британцев: слушаешь разговоры в Петербурге – кажется, что вот-вот подымется всеобщее восстание. А все стоит по-прежнему! А правительство и порядки ругают все, даже сами члены правительства!»

...Поутру Можайский, перейдя рисовое поле, по которому на зиму посеяна пшеница, перекрестился и пустил свое новое устройство в небо. Бумажный змей сначала медленно подымался при слабом ветре. Захлопали его двойные плоскости, и четырехугольник с таким же крестом, как на Андреевском флаге, взвился в безбрежную высоту и пошел на фоне золотистой снежной Фудзи, а лейтенант побежал, держа в руке конец шнура, по отмелям и лагунам, окруженный толпой прыгающих и орущих ребятишек.

Американцы, когда он жил на «Поухатане», подозревая в нем шпиона, выяснили, что в каюте гость их режет бумагу и клеит. Матрос, приставленный к нему, доложил, что лейтенант ладит бумажных змеев и пыхтит, как над важным делом, словно хочет пустить в атмосферу

¹⁹ Малахов, Малахов, Малахов!

секретный доклад об американских машинах. Матрос был курносый, услужливый, с гордо поднятой головой.

– Зачем опять привезли столько бумаги и тушь? – спросил Александр Федорович Можайский, приходя после испытания в чертежную. – Неужели все-таки будем чертить салазки?

– Да, спусковое устройство, – ответил Сибирцев.

Разговор офицеров Татноскэ перевел Оюки...

– Зачем салазки? – спросила девушка. – Нет снега.

– Да, нет снега. Это будут большие салазки, – сказал Сибирцев. – Больше, чем корабль. Покатим на них к морю корабль, когда будет готов. По сути, обезьяний бизнес, напрасное дело, дипломатический реверанс нашего адмирала.

– Салазки уже начаты нашими матросами без всякого проекта, – сказал Можайский. – Унтера вымеряли и приступили к делу.

– Адмирал велит сделать по строящимся салазкам проект. Хочет дальше учить японцев, оставить им все документы, все чертежи до мелочей включительно, чтобы они могли изучать.

– Это есть его благодеяние! Распространение образования! Оставим о себе память как о благородных друзьях.

– Исполать! Потрудимся, раз так! Правда, Оюки-сан?..

– Да, да...

– Но сегодня мы едем на охоту, Сибирцев, – сказал Александр Федорович.

– Что такое?

– Да, приказ адмирала!

– Заманчиво! Кто позволил?

– Эгава-сама! Мне и вам от японцев приглашение!

– Но нам же не позволено дальше чем за семь ри...

– Эгава позволяет куда угодно и даже просит. Тут много кабанов. Сын его едет с нами, наблюдение обеспечено.

Пришел Мусин-Пушкин.

– Вам ехать на охоту, господа! Посмотрите, что у них за леса, как содержатся... Евфимий Васильевич разрешает. А ваши летающие аппараты, Александр Федорович, еще никому не понадобятся целое столетие!

– Почему, Александр Сергеевич, так говорите? – холодея, спросил Можайский.

– Да потому, что вам еще нужно время, чтобы изобрести их, потом понадобятся средства, а вы не миллионер, – значит, нужно мецената искать. После, когда пойдет слух, что изобретение важное, то европейские жулики постараются выкрасть и выдать за свое. А наши жулики, столичные, объявят, что изобрели не вы! Вот тогда великое открытие совершится и наука восторжествует! Господа... с богом на охоту! Изучайте сосны и колючки!

– Да, работа не зверь, в лес не убежит, – согласился Сибирцев.

«Какая-то жалкая рыба взлетает, – думал с возмущением Можайский, – а человек не может... Не верю, когда вокруг нас океан воздуха!»

«Эка разговорился старший офицер! – подумал про себя Сибирцев, совершенно не понимая смысла сказанного Пушкиным. – Бывает, что и его прорвет! Все мы тут больше молчим!»

«Ты, Алеша, воин, буси²⁰, – думала Оюки. – Тебе со мной скучно. Я очень несчастная, Алеша-сан. Ты уходишь и оставляешь меня одну...»

Сибирцев зашел домой, достал дневник и записал: «Сегодня идем с А.Ф. на охоту с японцами, куда они поведут, обещают, что за гору Дарума, на которую мы часто любовались с делянки, где рубили лес. Капитан сказал, что идти надо обязательно. На днях Степан Степанович говорил со мной про Зибольда, что американцы не взяли его в экспедицию под тем

²⁰ Воин, рыцарь.

предлогом, что Зибольд – русский шпион. Капитан сказал, что, может быть, так и есть на самом деле».

Не знаю, писать дальше или нет? Впрочем, все наши дневники со временем, если вернемся благополучно в Россию, приказано будет сжечь. Однако кое-что надо записывать хотя бы для того, чтобы запомнить...

Глава 6

Как все начиналось

Чуть свет, перед тем как начинали бить в храмовый колокол, Таракити поднимался с татами, где мать стелила ему на ночь. С вечера он мылся во дворе, намазываясь черной мыльной мазью. Мать подавала старый нижний халатик. Завтракали редькой с рисом. Пили чай. Иногда отец что-нибудь спрашивал про работу. Утром мало говорили. Особенности западного судостроения обсуждались обычно перед сном.

Таракити надевал рабочее платье, брал инструменты и отправлялся на работу, прихватив ящичек с холодным обедом. Иногда мать приносила на стапель горячий рис и что-нибудь вкусное: свежую рыбу или ракушки.

Утро еще только наступало. Из лагеря доносились крики унтеров, потом дружные голоса сотен матросских плоток отвечали на приветствие капитана или старшего офицера. Потом слышалась молитва. Когда играли трубы оркестра, рабочие из строевой команды выходили под музыку из ворот.

На улице Таракити встретил старшего плотника Кикути. Десятилетний Кикосабуро, неся мешок, шел за отцом. Оба ответили поклонами на почтительный поклон Таракити, и все вместе стали подниматься по вытоптанной тропе в гору, за которой на берегу строилась шхуна.

Приходя на площадку, все японские рабочие кланялись друг другу. Матросам не кланялись, те просили зря себя не утруждать. Матросы лишь кивали головой знакомым и улыбались. Так же здоровались с ними японцы. Множество поклонов приходилось отвешивать наблюдавшим за работой своим чиновникам.

Просто глазам не верится, когда посмотришь на постройку западного корабля! Как он быстро растет!

...Однажды, еще до Нового года, в дом старого плотника Ичиро пришел десятский и сказал, что Таракити назначен на казенную работу. Пришлось услышать много необыкновенного. В деревню идут иностранцы. Начинается западное судостроение. Правительство приказывает обучаться.

– А кто будет платить за работу? – оттягивая пальцем красное больное веко, спросил Ичиро.

Таракити сидел как пришибленный. Очень неловко за отца, он невежливо отзывался на призыв правительства. Таракити готов взяться за исполнение приказаний с горячностью и старанием от всей души.

Десятский сказал, что заплатит правительство. Два деревенских туза, Ота-сан и Ябадоо-сан, назначены в помощь иностранцам уполномоченными судостроения, будут заготавливать материалы и распоряжаться рабочими. Обоим приказано надеть самурайские кафтаны. Это что-то значит! Это не просто! О! В деревне теперь появились свои дворяне! Рыбакам приказано ловить рыбу для пропитания. В доме Ябадоо открывается канцелярия бакуфу. Придет представитель высшего правительства и будет заниматься. Вскоре в деревню Хэда вошли морские войска иностранцев. Появилось множество своих чиновников. Выбрали место для постройки корабля. Из соседних деревень пригнали в Хэда плотников. Как всегда при этом, много кричали и шумели. Составлялись артели и выбирались старосты. Рыбаки не успевали ловить на всех рыбу, у них отбирался теперь для правительства весь улов. Если ленились и не старались, то на пропитание самим ничего не оставалось.

...К обеду халатик плотника был в темных потеках пота. Таракити вытирал лицо обеими руками.

Что это? Делаю, но точно не знаю, что получится. Может показаться, что вещь довольно простая. Согласно лекалам, одна из ее продольных поверхностей постепенно понижается,

неодинаково сужая две боковые поверхности, а это требует большой аккуратности. На конце предмета должен быть выступ. По-русски «зуб». В переводе оказывается то же, что по-японски. Сегодня матросы остановились, смотрели. Глухарев удивился, можно было понять: мол, терпение нужно, чтобы целый день просидеть, зажав кусок дерева ногами. Матрос Васька Букреев, наклонившись, потрогал икры и ляжки японца. Таракити взглянул испуганно. Когда матросы ушли, опять серьезно стал строгать рубанком на себя, а не от себя, как русские.

Кокоро-сан с Глухаревым у стапеля в дощатой будке занимались чертежами, когда Таракити принес готовую работу. Глухарев ничего не сказал, кивнул головой, а Кокоро-сан показал глазами, куда положить поделку.

Таракити замечал, что западные люди проще обращаются друг к другу, не как японцы. Не существует таких строгих правил, которые надо соблюдать. У нас нельзя обратиться к старшему чиновнику и он не может говорить с простым человеком. С высшим вообще нам запрещено разговаривать. Эти мысли появились после того, как однажды около Таракити остановился капитан. Смотрел и говорил через переводчиков. Капитан-сэнсэ – так его называли японцы по должности.

– Если, господа, хотите работать как следует и распоряжаться, оставьте ваши глупые церемонии, – заговорил сэнсэ, – и не задерживайте дела. Ваши люди не могут от вас добиться ответа, из-за этого постоянно все стоит.

– Как же быть? – спросил Уэкава.

– Да так и быть. Я обращаюсь к хорошему мастеру-матросу, а он ко мне. И унтер-офицер тоже, если ему надо, идет ко мне, а не разыскивает по всем храмам своего лейтенанта, чтобы тот шел сюда и спросил у меня. Возьмите себе это за правило, если хотите, чтобы дело шло.

Таракити понял. А у нас обо всем надо спросить старосту или младшего чиновника и ждать, когда он спросит старшего. А тот – своего старшего. И тот – высшего. Потом – обратно. У иностранцев так же. В случае необходимости матрос обращается к унтер-офицеру, тот, если не решит, идет к офицеру. Но сэнсэ правильно сказал: бывает, что матрос разговаривает с офицером и даже с капитаном. Капитан постоянно обращается прямо к матросу. Сам адмирал также. Чтобы не задерживать дела. У нас так невозможно, подумал Таракити. У нас лупят, и виноватый сразу запоминает, с кем можно говорить, а с кем нельзя.

Таракити старался работать молча, не ссорился и не кричал, как другие, обсуждавшие все дела артелью и громко. Вдруг старший плотник Кикути сказал, что утром следующего дня Таракити должен явиться в канцелярию бакуфу.

Яркое солнце взошло. В углу темной комнаты у столика сидит над какими-то бумагами или копиями чертежей кто-то очень небольшой, тщедушный и невзрачный, как карлик или горбатый. Приглядевшись, Таракити разобрал, что это свирепый и грозный Ябадоо – глава рыбаков и уполномоченный судостроения. Наверное, оттого, что в новой должности и занимается в государственной канцелярии, он так присмирел. В знак преданности бакуфу сжался и сторбился, как в вечном поклоне. Важности его как не бывало. Таракити много раз поклонился, стоя у двери на коленях, и пытался обратить на себя внимание.

Таракити бывал тут прежде. Но с тех пор помещение очень изменилось, откуда-то привезена богатая мебель – столики и шкафчики. Пол прекрасно выстлан цветными циновками. Поставлены вазы. На стенах повешены украшения. На видном месте белое кекейдзику²¹ из шелка с чьей-то росписью черными элегантными иероглифами. Кто-то из знаменитых вельмож расписался. Одна лишь подпись выставлена его подчиненными как прекрасная картина. Очень красиво, и важно, и вежливо, заслуживает подражания. Комнатам старого дома придан вид государственного значения. Во второй комнате тоже очень чистый пол в циновках. Комната эта пустая, но красивая. Она отделяет дальнюю, третью комнату, где, как богатство в храме,

²¹ Картина-свиток.

в отдалении от всех и на почтительном возвышении восседает сам представитель бакуфу – молодой, ловкий и верткий Уэкава-сама. Дальше нет комнат, а то сидел бы, наверно, в пятой или шестой.

Быстро вышел сам Уэкава. Вскоре Таракити стоял перед ним у чертежного столика и показывал свою записную тетрадь. В ней вычерчены все части, которые Таракити приходилось делать за эти дни.

«Хорошие чертежи и рисунки! – сказал Уэкава. По его знаку Таракити перевернул страничку. – Где так чертить научился?»

Ябадоо тут же, сбоку, тоже просматривает записки и рисунки. Уэкава спросил про две деревянные части судна, как называются, как делаются и зачем.

Вошли чиновники. Уэкава в ответ на их приветствия поздоровался. Ябадоо сказал, что составляется новая артель, в нее войдут свои, здешние, и чужие, из соседних деревень.

Хэйбэй будет в этой артели.

«Это хорошо!» – обрадовался Таракити.

Тут же было сказано, что Таракити должен наблюдать за плотниками очень строго.

Значит, он будет старшим?

На площадке собралась толпа приезжих. Работы еще не задали. Все громко кричали, обсуждая, как лучше работать. Пришел Ябадоо-сан и заговорил очень тихо. Сразу все дисциплинированно смолкли. Составляются две артели: из плотников, пришедших из города Нумадзу и из деревни Матсусаки. Еще одна артель смешанная – из здешних плотников и из приезжих из деревни Миасима. Ябадоо объявил, что ее артельным назначается Таракити. Тут молодой плотник прекратил работу, подошел и кланялся. Появился казенный художник. Яркой несмывающейся и нелиняющей краской на спине халатика Таракити он жирно написал иероглифом и азбукой: «Является старшиной артели плотников». И поставил номер артели. Придумали романтическое название.

Кикутти стоял тут же и, сняв шляпу, покорябал лысину. Он тоже доволен. Артель Кикутти первая – значит, главная. Таракити когда-то ходил вместе с Кикутти на работу к купцам. Смолodu Кикутти работал в артели у Ичиро – отца Таракити, поэтому поддержка и благодарность взаимны. На вопрос Ябадоо, кто лучше работает, Кикутти назвал имя Таракити, сына Ичиро.

...Таракити приглядывался, что происходит на плазе. Там что-то очень важное возводилось. Даже в те дни кое-что уже было понятно. Это очень удивительное сооружение. Мелом на черном лакированном поле, как на поверхности гигантской шкатулки, будут проведены все линии корабля. Лакировщики очень удивились, когда им предложили покрыть драгоценным лаком пол в обширном помещении. Присланы были не для изображения сказочной птицы Хоо, или хризантем, или цветов розовой вишни. Создается что-то неизмеримо более прекрасное для сердца плотника, чем изображение красавиц на горбатом мостике под многоцветными зонтами. Тут будет находиться секрет постройки западного корабля. «Учитесь читать чертежи!» – объявил Кокоро-сан. Плотникам будет позволено прийти и посмотреть. Надо уметь найти на чертеже, что и для чего! Таракити тогда подумал: «Нет, это невозможно!»

– Братишка! – похлопал его по плечу здоровенный матрос Маслов, недавно произведенный в унтера. – Что призадумался?

Пока Таракити любовался, матросы что-то срисовали. День был очень хороший. Дождя нет...

...Таракити видел, как несколько рослых матросов в белых, наверно в нижних, рубашках выкладывали из деревянных частей, сделанных японцами по рисункам и лекалам, очень длинный брус, осторожно вгоняя зубья в пазы. При этом велели присутствовать плотникам.

«Так это киль! Киль!» – возликовал Таракити. Киль он видел на рисунке и на разбивном плазе.

Таракити почувствовал, что он кое-что уже начинает понимать, что это все нечуждая ему книга без словаря, что-то уже есть знакомое в этом новом и таинственном учении.

Матросы подозревали Таракити и просили подогнать зуб к пазу. Он велел Хэйбэю помочь и сам работал.

Пришли капитан и Колокольцов. Матросы стали вгонять болты и деревянные гвозди, соединяя части киля в одно большое, очень тяжелое сооружение. Это основа корабля, так объяснили японцам. Но объясняли редко и мало. Сами должны смотреть.

Непрерывно узнаешь что-то новое и ни о чем, кроме дела, не думаешь, время очень ценное. Русские офицеры много не говорят, они почти не знают по-японски, но учатся, с ними разговор происходит, чертежами, и все вполне понятным становится. Иногда вдруг переводчик точно переведет какое-то требование Колокольцова.

Землю, которую сняли матросы, когда срубали отрог горы, возили на тачках, утрамбовали катками и «бабами». Теперь край площадки у моря – обрыв к воде – укрепляется. Японцы-каменщики из княжеского города Нумадзу выкладывают там стену из неровных плит коричневого гранита и красиво украшают ее цветной промазкой. Как розовые шнуры заложены между камней. Так делаются высокие фундаменты крепостей и княжеских замков. Это не хуже, чем во дворцах священного императорского города Киото. На рисунках приходилось также видеть, как в Осака оба берега реки, впадающей в залив, красиво укреплены и на каждом построено по башне из такого же камня.

В конце дня плотники из разных артелей, старшие и младшие, приходили и сдавали тяжелые деревянные части. Матросы и японцы собирались при этом, слышались смех, разговоры, все закуривали, некоторые в толпе менялись потихоньку хорошими вещичками.

Чиновники ничего не могли поделать, они стояли недовольные, с саблями, с бумагой и с кистями для письма и не смели разогнать это дружественное сборище. Да, они погрустнели, как обиженные. Тем более что рабочий день кончался. Вот-вот заиграет горн, и матросы начнут строиться. А там ударит барабан, и все зашагают. Но горн сегодня почему-то не играл и не играл. Это упущение. Кого винить? Как удастся это объяснить, составляя рапорт? Но почему русские не запевают? Это безобразие. Полиция любит, когда поют хором, красиво и этим все заняты. Вообще, когда все вместе что-то делают, а не порознь, следить легче, проще и приятнее, красиво и больше порядка.

С утра другого дня рослые матросы с размаху, страшно сильно и ловко вгоняли железные скобы в деревянные блоки, стоявшие на стапеле, скрепляли их по два, а потом, кажется, соединяли двойки между собой. Так на деревянном настиле выросли две стены из блоков.

Капитан шагал по стапелю, был чем-то недоволен, спорил с Колокольцовым. Вызвали команду моряков и одну стену немного подвинули. Лесовский и Колокольцов ушли, что-то обсуждая, а за ними, еще горячее доказывая друг другу, ушли молоденькие юнкера, которых сегодня капитан собирал у стапеля.

Аввакумов, с прокуренными усами во все лицо, объяснял японцам, что каждая скрепка блоков называется кильблок и что завтра на кильблоке будет устанавливаться киль – основа будущего корабля.

К стапелю подкатали лебедку. Трос продет в ее блоки и шкивы. Японцы собрались смотреть. Сразу запоминали новые названия. Опять пришел моряк с рыжими прокуренными усами во все лицо и другой, короткий, тоже с усами, темными от табака. Плотники потеснились, пропуская мастеров. Лебедка подняла киль и поставила на стапель. Матросы помогали руками.

До этого русские очень долго возились со своим килем, плотники еще и еще отделявали поверхность частей, а также зубья и пазы. Киль получился непростой. Три киля соединены вместе по всей длине. Некоторые части киля из металла. Заказали делать кузнецам в городе Нумадзу за большие деньги. Но пока металлические изделия еще не потребовались. Матросы делали киль с любовью, словно это княжеский дом или чертог шогуна, и, наверно, со страхом.

Это киль очень хороший, из наборного дерева, составной. Кажется, после этого – Таракити нетвердо помнил – Колокольцов взял много людей и ушел в Симода за американскими продуктами, а также воевать с Францией. Скоро вернулся, опять все проверял.

Из Симода приехал адмирал. «Здрав желаем!» – кричали во всех концах площадки отряды матросов. По этим крикам известно, где сейчас адмирал и куда идет.

На стапеле побывал Кавадзи, вельможа из столицы Эдо, один из самых высших чинов правительства бакуфу. Чтобы охранять Кавадзи, прибыло еще много чиновников. Но кто привык работать с наблюдателями, обращает внимание только на дело, и шпионы ему не мешают, с ними вполне спокойно.

Лекала шпангоутов лежали долго во дворе дома Ота, где была чертежная. Теперь их привезли на площадку. Эти лекала все рассматривали с любопытством. Все лекала оказались совершенно разными. Значит, все шпангоуты будут разными, о каждом шпангоуте придется думать отдельно.

Колокольцов стал заниматься с плотниками, объясняя, почему выделка шпангоутов трудна.

Молодой плотник Хэйбэй из деревни Миасима очень хороший товарищ. Знает много смешных историй. Сам сочиняет песни. Работает хорошо, не торопится. Худой, с горбатым, длинным носом, высоким лбом. Когда услышал, что дело дошло до шпангоутов, то у него лицо вытянулось, как будто хочет расхохотаться. Но на самом деле он только удивился. И недоуме-вает.

У Хэйбэя волосы торчат клоками, а брови всползли от переносицы вверх, поэтому кажется: он всегда изумлен, бегаёт по сторонам глазами, заметит что-нибудь смешное и сочинит песенку. Очень смешно передразнивает русских.

Теперь работа идет быстро. Трудится семь артелей. Назначено семь старшин. Скоро будет заложен второй стапель.

...Таракити шел домой через гору с Кикуты и его сыном Кикосабуро. Сняв шляпу и проведя рукой по лысине, пожилой плотник сказал, что сегодня услышал от Ябадоо. Артельным старостам даны будут фамилии. Не будут зваться по именам, как все рабочие. Обычно простолюдины живут без фамилий. Фамилии разрешались только знатным и состоятельным.

«Где же мы возьмем фамилии? – подумал Таракити растерянно. – Может быть, вспомнить название наших домов? У нас с отцом дом называется “Верхнее поле”. Это может быть хорошая фамилия. Мне нравится!»

– Говорят, что кто будет хорошо работать, тому фамилия будет оставлена.

«Очень заманчиво, – радовался Таракити. – Это не только награда. Хотя нельзя надеяться». Таракити кое-что решил узнать.

– Так решено поступить, – пояснял он отцу, – чтобы плотники могли по делу разговаривать на стройке с чиновниками, не унижая их.

– А потом фамилии у нас обязательно отберут, – мрачно пробурчал Ичиро, обиженный за сына. Чиновники подходят к нему советоваться, а считают это унижением?

Стояла холодная погода, когда приехал Эгава-сама. После уроков Кокоро-сан плотники, простившись, вышли из храма Хосенди и через двор прошли в ворота. Их догнал один из важных пожилых чиновников, прибывших в тот день с дайканом. Он схватил одного из артельных плотников за волосы и низко согнул его несколько раз, показывая, как надо Эгава-дайкану кланяться.

– Вот так! Вот так!

Потом ударил несколько раз по лицу. Затем взял Таракити за ворот, поставил на колени и ударил лбом о землю.

– А что надо сказать в ответ?

– Спасибо!

Все поблагодарили учителя.

Очень обидно. Не били, но все лицо в грязи. Консервативная партия напоминает о верности! Вот так! Артельные замечались, что возьмут фамилии: Исихора, Цуцуми, Сузуки, Саяма. А тот, которого учили, схватив за волосы, и били по морде, хотел стать Ватанабэ. Кикиути желал взять фамилию Оаке, очень просто, так исстари дом семьи называется.

Фамилия Уэда вдохновляла Таракити. Хотя дом стоял на берегу бухты, но рисовое поле семьи находилось в верхней части долины. Отсюда название Уэда – Верхнее поле. Новая фамилия напоминала не только про поле на горе, она звучала символически и пророчески. Таракити решил, что надо еще стараться. При этом невольно интересовался политикой. Один беглый монах, беседа, намекает, что в Японии возможны перемены! Зачем же?

С утра установилась хорошая погода. Все слышали, как в храме Хосенди опять гремит оркестр. Там второй день пир, веселье и танцы. Молодые плотники залезали на гору на высокое дерево и смотрели. Рассказали, что во дворе храма что-то прыгает, кто-то пляшет. С бубнами в руках прыгает, похож на огрызок черной редьки. Русские и японцы в богатых одеждах. Там князь Мидзуно, который вчера утром был на стапеле и похвалил постройку шхуны. Приехал, чтобы пощупать киль.

На другой день шел дождь. Из леса вернулся с охоты сын дайкана Эгава. Опять его люди привезли кабана. Все вымокли. Хэйбэй, бегая по сторонам глазами, тихо сказал, что сегодня опять придет монах.

– Надо отнести ему бенто²² с обедом, – ответил Таракити, – мы с тобой обойдемся одним обедом.

– Ясно... ясно... понял...

Хэйбэй жил у дяди-рыбака. Дядя и тетя заботятся о нем. Тетя готовит обед из рыбы, краденной дядей из собственного улова.

Звали с собой Кикиути. Но пожилого человека не занимают тайные учения – надо кормить семью. Кикиути уже за сорок. В деревне считается стариком. Он лысоват. Очень любит сынка, думает о нем больше, чем о политике. Оаке, как называл себя теперь Кикиути, еще до утверждения, полагал, что в Японии никаких перемен не будет. У японцев всегда все будет по-старому. Нужны не ниспровержения, а развитие, да надо растить крепких молодых японцев.

Эгава ходил по стапелю, все записывал и проверял. Потом стоял и смотрел, как работают плотники, и думал. Такой он сумрачный!

Вчера вечером офицеры заходили к Эгава с переводчиком. Сюрюкети-сан – родственник русского императора, имеет доступ к любому из чиновников, в любое время вдруг является с товарищами. Ему разрешено.

Сюрюкети-сан рассказывал анекдот. Эгава выслушал и спросил, правильно ли понял содержание. Оказалось, вполне правильно. Смысл тоже понял верно. Про англичанина в России, как ему трудно приходилось из-за непривычки. Все русские выслушали и засмеялись. Эгава понял, но ничего смешного не находил. Напротив, очень трагично: люди не понимают друг друга.

В таком случае Эгава мог бы рассказать другой анекдот, еще смешней. Получено распоряжение высшего правительства: учиться у иностранцев, воспользоваться их присутствием, установить хорошие отношения. Но тут же из другого ведомства, также высшего и правительственного, велено строго наказывать за связь с иностранцами. Если рассказать иностранцам, станут ли смеяться? Или скажут: это очень трагично. Надо быть очень опытным потомственным чиновником в седьмом поколении, при строгом правительстве, чтобы уметь выполнить оба распоряжения! Это смешно? Эгава в душе смешно и только немного печально.

²² Коробка или ящичек для обеда или закуски.

Глава 7

Нищий монах под дырявым зонтиком

Шел дождь, когда оба плотника свернули с тропы и, сложив соломенные зонтики, стали продираться сквозь чащу, вверх по склону горы.

Монах ждал в условленном месте, у скалы, обросшей колючими вьюнками, плети которых мокры и упруги, но на вид вялые и слабые. Монах сидел под дырявым зонтиком. Конечно, голоден, ему негде приютиться. Где же он был эти дни? Сгорбился от тяжких забот и одиночества!

Широкое лицо монаха оживилось, острый взгляд узких глаз повеселел – видно, рад, что сейчас получит чашку риса. Значит, не унывает; может быть, большой забавник! Сейчас видно, что молод, сорока еще нет; мужчина в силе. Совсем стал не похож лицом на нищего. Но ведь бывают весельчаки нищие! Ходят компаниями по дорогам, устраивают попойки и драки. Может быть, и этот гуляка и краснобай. Но послушаем! Иначе интересных новостей не узнаешь.

После взаимных поклонов Хэйбэй поставил перед скитальцем ящичек с холодным обедом – бенто. Монах взял палочки и стал быстро забрасывать еду в рот. Плотники сидели молча. Монах не все съел. Он как бы стал прислушиваться; но, может быть, какие-то мысли не давали ему покоя.

В лесу слышались шаги. Монах не обернулся, хотя лицо его выразило смущение, но на нем быстро восстановилось спокойствие, оно стало опять плоским и жестким, он овладел собой и, казалось, сжался, словно уменьшился в размерах. Явно это человек с несколькими лицами.

Сердце Таракити обмерло, он увидел, что наверху, совсем рядом, люди. Но, слава богу, это не японцы, а два усатых эбису с ружьями, оба в непромокаемых плащах из клеенки и в сапогах. Посмотрели на тайное собрание японцев и удалились. Один из эбису – очень высокий – Можайский. Другой – Ареса-сан.

Эбису ничего не сказали, прошли, и с ними два морских солдата, тоже в плащах. Японцев не было.

– Ишь ты, – сказал один из морских воинов.

– Чертова перешница! – добавил другой, оглядев монаха.

Монах и плотники с быстротой молнии ринулись под скалы и залегли ничком. Ясно, за эбису должны идти шпионы, в отдалении, создавая видимость свободы передвижения, предоставленной Путятину и его подданным. Но не совсем так. Спокойно прошел с оружием для охоты японец, видимо, проводник эбису, приставленный к ним, но отставший, может быть. А через несколько минут появились еще двое, явные шпионы, оба невзрачные, маленькие люди, шли мелкими шажками, сгибаясь, виновато, словно стыдясь даже деревьев. Идут вдвоем, чтобы следить не только за эбису, но и друг за другом.

Трое лежали не шевелясь и не дыша. Шаги стихли. Еще долго ждали; кроме стука птиц, в лесу ничего не слышалось.

Монах, как видно, опытен, сказал уверенно, что уже бояться нечего. Поднялся, отряхнув одежду от мокрых желтых листьев, и опять раскрыл зонтик.

Опять перед плотниками сидел настоящий монах, как сошедший с рисунка из старой книги. Но времена меняются, и благочестивая внешность может быть обманчива. Известно, что на дорогах собираются шайки нищих монахов, напиваются и устраивают дебоши в дешевых гостиницах. При этом что-нибудь проповедуют.

– Очень много законов накопилось и много правил наших великих нравственных учителей, в которые верим, но невозможно все запомнить и никто не может выполнить. Поэтому

царят беззаконие и безнравственность, а сильные люди делают что хотят, нарушая все законы и все заповеди, и даже смеются над ними. Поэтому новое учение рождается!

«Какое же это учение?» – хотелось бы спросить. А ловко нырнул в чашу, заметив опасность!

– Это знакомые? – взглянув вслед ушедшим, спросил монах.

– Да, – ответил Хэйбэй.

– О-о! – многозначительно протянул скиталец, как бы выражая, что подобное знакомство для него недостижимо, восхищен и завидует.

Монах еще раз заглянул в бенто. Быстро доел рыбу. С испуга не лишился аппетита. В ящичке еще оставались продолговатые катышки из риса.

Таракити пришел сюда без особенной охоты. Изучение западного судостроения занимало его несравненно больше, чем проповеди бродячего монаха. Но не хотелось отпускать сюда Хэйбэя одного. Да, кстати, надо все же послушать! Отец как-то сказал, что и темные личности иногда высказывают верные мысли.

– Хорошие шпионы не стыдятся своего дела! Мелким шпионам поручаются мелкие дела, например, все время досаждают кому-нибудь, чтобы тот все время чувствовал, что за ним подзревает вина. Это обычно применяется к тем, кто не виноват ни в чем, кто любит бакуфу и патриот, но кому надо насолить и кого еще нельзя убить сразу, как бы по ошибке.

Таракити мороз подирал по коже от таких разговоров.

Лицо монаха стало сытым и самодовольным. Оно даже пополнело. Провожая на работу, тетя кладет Хэйбэю в ящичек вкусные кусочки!

Монах поднял руку и приоткрыл рот. Парни смотрели и ждали. Монах печально повесил голову. Скука и тоска явились в его глазах. Потом он глянул исподлобья. Неужели на крайней грани отчаяния?.. Боится преследования? Или возмездия?

– Но почему же... – вдруг с яростью воскликнул монах, как бы перебивая сам себя. Лицо его выразило притворное вдохновение, и он заговорил как бы в упоении: – Почему же мы верили, что залог благоденствия в том, что мы навечно отгорожены от лживого, отвратительного христианского мира? Нас учили, что мы за это должны от всего отказаться и подчиняться бакуфу, лучше которого нет ничего на свете. Но вот наступает время, когда в совершенное, исключительное, идеальное в своей стране никто не верит и непреложные истины и законы становятся смешны. Не так ли? Как это вдруг произошло? Разве японцы прозрели? Мы были до сих пор слепы или нет? Не заблуждаются ли те, кто теперь отвергает все, во что мы верили?

«Может быть, он христианство проповедует? – подумал Таракити, и на его голове волосы встали дыбом. – Но с нами у него ничего не получится».

Хэйбэй, как певец и сочинитель, конечно, слушал с удовольствием, ловил каждое слово, казалось, готов влезть монаху в глаза. Видно, восторгается слогом, красноречием и образованностью монаха и как тот смело метался мыслью во все углы. Что-то доказав, сразу же бесстрашно заявлял совершенно противоположное, опровергая все, что сам только что утверждал. Не накурился ли он до одури какого-нибудь контрабандного зелья? Наверно, никогда нельзя уличить и посадить такого в клетку. Очень опытный оратор. Но как мог благородный и образованный человек впасть в такую нищету и в ничтожество?

Хэйбэй почти поколебался в душе, он как у края пропасти. Если готов признаться себе, что подчиняюсь, покорен, кажется, теряюсь и не в силах сопротивляться, то монах сделает со мной все, что захочет! Очень опасны образованные ораторы!

– Где же правда? Сохранять изоляцию и уничтожать иностранцев? В этом? Или же отважно отбросить и растоптать старые законы, если они устарели? Или это ошибочно, кощунственно? Мы, несущие верно и покорно тяготы ради счастья своего народа на чистой земле, верили в истины и не щадили себя... Отчужденность Японии привела нас к счастью и к несчастью. Японцы стали едины, но зазнались и ослабли, в то время как весь мир двигался вперед.

Теперь предстоит испытывать стыд и позор! Отставшие, мы выглядим варварами. Но все переменится! – вдруг осмелел монах. – Когда-то в Японию свободно приходили купцы из разных стран Европы. С купцами на кораблях прибывали христианские священники. Японцам разрешалось принимать их веру и плавать в другие страны.

Монах смотрит Таракити в лицо. Невежливо не поддакивать? Монах хочет, чтобы Таракити похвалил врагов Японии? В этом случае кивнуть головой? Этот же поклон может означать, что слушатель не подчеркивает отрицательного мнения.

Монах стал рассказывать, как японцы жили вместе с португальцами и испанцами, какие красивые португальские одежды, как носились кружевные жабо и камзолы, башмаки с пряжками. И длинные волосы! У них золотые кресты на шее! Потом всех испанцев и португальцев сожгли! Западные учения признаны ложными! Сожгли всех христиан, сдирая с живых кожу. Японцев, принявших христианство, бросали вместе с их семьями в жерла вулканов... Монах умолк и заморгал глазами.

– А мне приходилось скрываться, – как бы очнувшись от сна, молвил он. – У меня нечаянно умерла беременная любовница... – «Как это случилось?» Таракити опять обмер от ужаса. – Скажи, а у тебя есть русские друзья? – быстро спросил его монах.

– Друзей нет. Знакомые есть, – с гордостью ответил Таракити.

– Придите оба завтра вечером в храм у верхнего рисового поля. Я буду ждать. Не бойтесь...

Монах достал из ящичка оставшиеся катышки риса, завернул их в бумажный носовой платок, спрятал в рукаве халата.

– Хотел бы стать богатым человеком? – вдруг спросил он.

– Да, – ответил Таракити.

– А ты?

– И я, конечно.

– Придите завтра вечером в шинтоистский храм...

– Ну, что ты думаешь, как быть? – спросил Таракити у товарища, когда бродяга исчез.

Плотники возвратились на площадку, где строилось судно. Уже поздно. Но не все эбису ушли в лагерь. Несколько перепачканных матросов и два японца вышли из кузницы. Там кирпичная печка прогорела и развалилась, они оставались после отбоя, заканчивали перекладку. Провозились и еще не все доделали.

Несколько часовых и полицейских в своих кимоно, как яркие цветы в кустах, оставались у площадки после окончания работы.

Под берегом стояла широкая лодка. Матросы столкнули ее.

– Никитка, – позвал Петр Сизов, – иди!

Петруху, который теперь кузнечит, все японцы знают. Хотя не считается мастером, а работает хорошо. Очень заметный воин.

Прежде, если матросы звали японцев ехать с собой в лодке, те, ударяя себя ладонью по шее, показывали, что им за это отрубят голову. Или молчали, делая вид, что ничего не понимают, в лодку не садились и норовили поскорее уйти. Сейчас двое мецке²³ и переводчик Иосида наблюдали сверху. На глазах у них Таракити и Хэйбэй сбежали с обрыва и залезли в лодку вместе с матросами. Мецке, наверно, завидно глядеть, как в отошедшей в сумерки западной шлюпке замелькали огоньки: в лодке все дружески закурили. Теперь такие случаи часты, о них невозможно докладывать, не хватает бумаги. Самих мецке выгонят, если будут только этим заниматься.

«Мецке тоже люди, и люди хорошие, – подумал Таракити. – Они мне плохого ничего не сделали». Втайне он гордился, что его охраняют. Хорошо также, что сегодня все обошлось!

²³ Полицейский, также наблюдающий агент полиции.

– Где же вы пропадали так долго! Если бы вы знали, что пропустили! – говорил Николай Шиллинг, выходя из своей каюты и встречая возвращавшихся с охоты товарищей. – Утки? Такое множество?

– Как видите, барон, – отвечал Можайский.

– Прекрасно! – сказал Шиллинг.

Все стали рассматривать разложенную на лавке дичь.

– А теперь вы рассказывайте, господа, – сказал Сибирцев, садясь за чай. – Что у вас?

– Что же мы пропустили? – спросил Можайский.

– Сегодня уехал гостивший у нас феодальный вельможа...

– Как только вы ушли на охоту, – заговорил Зеленой, – прискакал самурай с известием, что едет князь!

– Адмирал назначил барона главным распорядителем! – пояснил поручик Петр Елкин.

– Был составлен церемониал?

– Князь Мидзуно из соседнего города Нумадзу, – сказал барон.

– Феодал, со всей семьей и свитой! – подхватил Елкин.

– Князь! О-о! Соодеска! Ээ... Ээ... Хи-хи... – с изумленно-испуганным лицом молвил Можайский, подражая японским чиновникам.

– Позвольте. Вы не говорите главного... – воскликнул юнкер Корнилов. – Князь приехал с дочерью!

– Прелестная японочка! – отрываясь от чтения и откладывая книгу, которую он было уже взял, молвил старший офицер Мусин-Пушкин.

– А какие туалеты! Шелка толщины сукна!

– Как вы узнали, юнкер?

– Каков же сам феодальный владыка? – спросил Сибирцев. – О нем говорили, кажется, что характерный красавец даймио.

Мусин-Пушкин отошел к свече и сел за книгу.

– Мы жалели, что вас не было, Александр Федорович, – сказал Шиллинг.

– Мы в горах слыхали, что как будто музыка играла. Очень, очень жаль... К тому же княжна молодая! В самом деле князь хорош?

– Мало сказать – хорош! Мы с толку сбились, не зная, как встретить получше, чем занять, что играть. Решили концерт начать Бетховеном.

Сидевшие у стола или стоявшие у стен офицеры и юнкера глядели на пивших чай охотников затаив дыхание. Рассказ Шиллинга подходил к решающему событию.

– Пропустили такой случай! – с укоризной сказал Сибирцев, посмотрев на Александра Федоровича.

– Прибыли головные самураи. За ними шествие. Свита в парадных одеждах, значки князя несли на древках, воины с копьями и саблями. Князь и члены его семьи в паланкинах на плечах носильщиков... И вот появился из каго маленький сухой старичок, неказист собой, щупленький, скуластый, плосколицый, нос вровень со щеками, сам кривоногий, господи, ни дать ни взять амурский гиляк Афоська!

За столом грянул хохот. Можайский руками развел и вскочил из-за стола.

– Так что же наплел Эгава? – спросил Алексей.

– А что же Эгаве оставалось. Начальство и его сиятельство не могут не быть красавцем!

– Так ведь это самое интересное для меня! Такого я князя пропустил! – воскликнул Можайский. – Серьезно Афоська?

– Право! Только в накрахмаленных штанах и в шелках, которым цена дороже золота! А мы ему «Турецкий марш»...

– И дочь?

– Дочка, господа, красавица. И с ней придворные дамы. Держались все с достоинством. И собой хороши.

– И что же дальше?

– Евфимий Васильевич предупредил: принять без тени европейской спеси. Никаких демонстраций ложного чувства собственного превосходства. Это противоречит духу христианства. Принять как равного! Как европейского вельможу, не глядя ни на что, чем бы он вас ни ошарашил. Конечно, все суетились: что такое, откуда? Что случилось? Князь приехал всех этих земель. Приказ был: парадная форма, никакой иронии.

– Угостили князя завтраком. Свозили на шхуну со всей семьей на вельботе, с гребцами в форме. Трапы выстлали коврами. Потом пир в храме Хосенди. Во дворе духовой оркестр исполнял Бетховена, потом из Верди, вальсы, польки. Соло на кларнете – Григорьев. Потом хор матросов исполнял военные песни. Юнкер Лазарев пел из «Риголетто». А потом грянули плясовую, матросы плясали «Камаринскую», и что они вытворяли – уму непостижимо. Я сколько служу – не видел ничего подобного. Наш Черный боцман плясал лихо, с бубном. Гости замерли. Матросы плясали без устали полчаса и, кажется, напугали японцев сильнее всякой артиллерии.

– А княжна?

– Настоящая аристократка. Заметно было, что ей нравилось.

– А папаша сидел, словно его стукнули по голове.

– Мы понять не могли, почему он недоволен, – продолжал Шиллинг. – Только потом узнали, что причина не в том, на что мы подумали.

– Так где же этот князь? – спросил Можайский.

– Князь сегодня уехал в город.

– Домой?

– Да. Уехал довольный. Сказал, что очень понравилось. Благодарил адмирала почтительно.

– Как равный равного?

– Нет, пожалуй, как высшего. Они подчеркивают, что Путятин – посол императора.

– А дочь уехала?

– Нет, дочь его осталась.

– Она здесь? – изумленно воскликнул Можайский.

– Ах, Саша...

– Где же она?

– В храме...

– В котором?

– За рисовым полем, где бонза Фуджимото. Там с ней и ее дамы. Князь пояснил, что оставляет дочь, чтобы она тут изучала западную живопись и музыку.

– Но это уже не Афонька, господа! – сказал Сибирцев.

– Вот это сюжет! Но вы, господа, хоть разговаривали с княжной? – спросил Можайский. – Ты, Николай?

– Да. Она естественно держалась, любезно говорила. Отвечала всегда находчиво.

– Барон их всех рассадил очень удачно, – подхватил юнкер Корнилов.

– Когда концерт закончился, княжна поблагодарила адмирала и поклонилась ему почтительно. Евфимий Васильевич спросил, понравилось ли, как юнкер Лазарев исполнял арию, ответила, что да. Я спросил, хороша ли западная музыка. «Да, очень». – «Верди? Берлиоз? «Турецкий марш» Моцарта? Что больше всего?» Вдруг она мне отвечает по-русски: «Камаринская».

– Ей понравился Григорьев с кларнетом и как прыгал Черный боцман, – сказал Мусин-Пушкин.

– Переводчик сказал, что их восторг трудно выразить. Еще князь хотел посмотреть европейский барабан... А потом спросил, где карусель. Ну мы: домо сумимасэен...²⁴

– Сегодня, когда гости уехали, со свежими сплетнями явился в храм Татноскэ. Сказал, что сначала князь испугался духового оркестра...

– Погодите, барон, – заговорил Зеленой, – уж теперь я доскажу. Это я с ним говорил. «Почему князь уехал? Мог бы еще погостить? Почему поспешил? Он недоволен?» – «Нет, он доволен». Тут барон сказал: «Мы готовились к переговорам, хотели заложить при князе Мидзуно второй стапель». И я спросил, для кого князь спрятал в рукава несколько сладких пирожков. Что, вы думаете, ответил Татноскэ? Ответил по-русски: «Князь очень спешит домой. У него в замке остарись очень красивые мородые бряди. Князь очень беспокоится». И тут же входит адмирал. «Вы что это? Разве можно?» Такой хохот был. «Да вот переводчик рассказывает. Невозможно удержаться». – «Что такое?» Татноскэ все и выложил адмиралу. Евфимий Васильевич побагровел. Потом подумал и спрашивает: «Откуда переводчик знает такие слова?» – «От матросов, Евфимий Васильевич!» – «Удивляюсь, что же боцман смотрит!»

– А Татноскэ еще добавил: «Князь очень сожарер на концерте: ему так нравилось. Хотел привезти брядей сюда на концерте». Тут не утерпел Евфимий Васильевич и говорит: «Ваньку-боцмана показать его гарему!» Не стал больше говорить с Татноскэ и ушел в лагерь.

– Вот во что обошлась вам охота!

– Так, господа, значит, этот князь – настоящий светский человек! Эгава не ошибся!

– А что же видели вы, где вы были?

– А мы были внутри Японии!

– Мы были вблизи селения, где находится поместье Эгава.

– Прекрасная долина в горах! Рай земной! Право, не стоит пускать туда иностранцев.

– А Эдо видели?

– Нет. Говорят, что Эдо за горой Фудзи.

– У них все за горой Фудзи. Но с какой стороны?

– Только пыль золотая горит на солнце за Фудзи, – сказал Сибирцев. – Поэтому кажется, что там, за ней, грандиозный, сияющий в золоте столичный город.

После работы Хэйбэй спросил товарища:

– Пойдем в храм?

– Да, – ответил Таракити, хотя ему не хотелось.

– Может, возьмем с собой еще кого-нибудь?

– Надо идти только вдвоем.

Хэйбэй сегодня разговаривал с Путятинным. Адмирал узнал его, когда перед концом дня на стапеле смотрел работы. Спросил, не трудно ли пилить, держа дерево ногами. Хэйбэй сказал: все плотники работают ногами и руками. Раз Хэйбэя спрашивает адмирал, значит, можно отвечать. Путятин сказал, что видит в первый раз. Хэйбэй полагает, что об этом можно сочинить смешную песенку, начать теми же словами, что и первую:

Путятин ни атама о...²⁵

У горы, за черной рощей кипарисников, стоят на поляне ворота шинтоистского храма – два столба с выгнутой перекладиной. Забора нет. «Похоже на виселицу», – сказал когда-то матрос Яся. Вся деревня знает матроса Яся. Так японцы зовут Ваську Букреева, про которого ходят легенды. Все в деревне любят морского солдата Яся.

За воротами, в двух десятках шагов, гнутый мостик, как Мост Бубна в Эдо, сделан также в виде отрезка обода шаманского бубна, хотя и меньше Эдоского. Дальше в лесу, почти на опушке, – храм, небольшой деревянный домик из новеньких кедровых досок, чистый как душа.

²⁴ Извинились.

²⁵ Голова у Путятина... (Намек, что болит.)

Очень таинственно и в сумерках страшновато. Но почему буддийский монах скрывается в шинтоистском храме, у своих соперников?

– Опасно, но пойдем смелей, – сказал Таракити.

Плотники минули ворота и мост, подошли к домику. Там никого не было. В лесу лаяла лисица. Где-то далеко были шакалы. Но это все ничего. Хуже, что нет монаха.

– Монах исчез? – спросил Хэйбэй. Значит, он вынужден был так поступить. Он скрылся.

– Да, его нет.

Таракити и Хэйбэй пошли к ближайшему буддийскому храму, который стоял пониже, у горы. Вокруг полей пришлось пройти порядочное расстояние. Стемнело. Этот храм обнесен крепким забором. Ворота еще не закрыты. Таракити и Хэйбэй вошли в помещение, низко поклонились вышедшему на скрип половиц хозяину-бонзе. Но и тут больше никого нет, никаких гостей.

Таракити положил на алтарь угощение, приготовленное для беглого монаха, а Хэйбэй осторожно поставил кувшинчик с саке. Теперь у плотников есть оправданной доказательства. На случай, если с монахом что-то случится, можно все объяснить.

Вечер был такой тихий, что на пути в деревню, у храма Фукусенди, услышали происходящий там разговор. В храме сборище. Разговаривают бонзы. С ними какой-то русский. Отец Ва-си-ре²⁶. Он служит в лагере по-христиански? Так в нашей деревне Хэда теперь есть все три цивилизации: буддийская, шинтоистская и христианская! Этого нигде не бывало! А бонза в храме остался очень доволен. Наверно, сейчас напьется. Хотя думать так – грех. Жертвы идут не ему, но, конечно, бонзе разрешается съесть. Это единство понимания, объединение идеального и материального начал. Идея высока, и ей все преданы, а все съедают бонзы. И это, конечно, хорошо. Ну, что же еще? Где же он? Да, дело темное! Может быть, хорошо, что так получилось. Не надо путаться с монахом. Что-то почуял и исчез? Или понял, что с плотниками ничего не получится? Толку ему от нас не будет. Или хотел уговорить креститься, а потом выдать, чтобы начали казнить плотников – мастеров западного судостроения? Известно, что есть дети, которые всегда стараются сломать домик или игрушки, сделанные с трудом соседним ребенком. Разбить в пух и прах, воображая себя при этом самураями, сражающимися за святое дело правды. Конечно, такие же есть и взрослые! Наверно, многие завидуют нам, хотели бы стереть с лица земли наши труды. Но, может быть, он желал познакомиться через нас с эбису? Страшные мысли! Говорят, когда срубят голову и она упадет, то ей еще очень больно, особенно от ударов о камни, очень обидно... Лучше, однако, не думать...

А громко говорят! Вдруг послышался знакомый голос. Плотники переглянулись. Это он? Наш монах? Вот он где! Надо поскорее убираться.

Ведь он учил: «Терпеть можно и нужно. Но не двести пятьдесят лет и не без смысла! Восемнадцать эр! В чем выход?»

«В шпангоуте!» – хотел тогда ответить Таракити.

Отец говорит, что на свете много негодяев и они сразу появляются там, где важные дела. Бродяга из тайной секты попал в храм Фукусенди, в очень богатый, хороший храм. Там князь Мидзуно всегда останавливается. А в Эдо монах жил в храме Сиба, так сам сказал.

– Мне кажется, что он не монах, – молвил Хэйбэй.

– Кто же он? – испуганно спросил Таракити.

Хэйбэй шел, подняв голову, о чем-то размышляя, словно глядел в ветви сосен на фоне ночного неба.

– Новое учение – открыть границы Японии? Он говорит, что ум человеческий еще не в силах этого понять.

– А если он напишет донос?

²⁶ Так японцы называли священника Василия Махова.

– Пусть только попробует. Тогда я наговорю на него столько, что он не рад будет.

Да, Хэйбэй умеет ответить! У поэта язык привешен. Еще песенку сочинит и слова возьмет из слоговой азбуки, да так, что про монаха прямо не будет упомянуто, но по знакам понять намеки можно!

Прошли мимо канцелярии бакуфу. Дом Ябадоо похож на несколько лачуг под одной крышей. В правом крыле дома – в «Правом дворце», как теперь называют, – слышались голоса. Что за странный вечер – люди говорят внизу у моря, а на горе слышно. Говорят в домах – слышно на улице. Имеется ли описание таких вечеров в трудах по подслушиванию для мецке? «Левый дворец», как известно из описаний столиц и княжеских городов, почетнее правого. Левая сторона всегда важнее правой не только у шогуна в Эдо, но и в деревушке Хэда у старого самурая, внедряющего по приказу бакуфу прогресс.

Ичиро сидел за столиком и пил чай.

– Где был? – спросил у вошедшего сына.

– Ходил помолиться.

– Монаха остерегайся! – сказал отец.

Он-то что слышал? Догадывается, но, наверно, ничего не знает. Конечно, нехорошо скрывать от отца, но приходится.

– Как сегодня работал? Что нового сделали? Такой вопрос старый плотник задавал ежедневно. Сам Ичиро опять ходил в лес за сучьями и дудками, много думал про западное судостроение. Ноги устали, но еще не болят, и голова ясная.

– Опять слышал, что иностранцы плохо работают.

– Почему?

– По обработке брусьев и досок. Отделка хуже принятой в Хэда. Они все делают начерно.

Таракити не согласен. «Начерно!» Отец еще недавно говорил, что вся Хэда недовольна: построили плаз и стапель, столько леса ушло зря. Все новое не нравилось.

Известно, что семь поколений этой семьи были плотниками. Может быть, еще раньше предки плотничали, но про это не говорится, это неприлично. Почему-то считается, что со времени начала управления страной шогунами рода Токугава в народе, как и в чиновничестве, сменилось семь поколений. Как в роду Эгава! Нашего дайкана! С воцарением рода Токугава началась настоящая счастливая история, и поэтому никто не смеет сказать, что знает что-то про жизнь своего рода в дотокугавские времена. В детстве бонзы так учат, как будто до шогунов Токугава история не существовала. Семь поколений нам разрешено знать. А у самих Токугава за это время сменилось, кажется, восемнадцать шогунов! Конечно, до них жизнь была христианская, нечистая. Хотя древние ткани ценятся до сих пор. Разные изделия тоже. И стихи.

У отца за домом стоит сарайчик с козлами, с пилами, с камнями для точки инструментов. Раньше, бывало, приходил рыбак, кланялся. Пил с отцом чай. Саке тогда редко угощали. Заказывал новое судно... «Какое вы хотели бы? – спрашивал отец. – Судно или лодку? Большое фунэ²⁷ или маленькое?» Или просили: «Почините наш корабль». – «Что такое?» Отец, как искусный мастер, мог лечить суда. «Пожалуйста, господин плотник! Мы идем из Осака... открылась течь... Мы по рекомендации Ота-сан». «Мы по рекомендации Ясобэ-сан». В этом случае неприлично назвать старого самурая Ябадоо. Суда строились обычно на лужайке у жилья и подпирались жердями. Чем выше становились борта, тем больше жердей вокруг упиралось в его бока. В сумерках казалось: корабль с веслами. Спускалось судно – отца угощали саке.

Или явится приказчик от Ота-сан, приглашает к хозяину. Ота-сан нанимает плотников строить большое судно. Это всегда выгодная работа. Так работали семьей или артелями, нанимались помочь другим плотникам или нанимали их в помощь себе. По праздникам десятские

²⁷ Лодка, судно.

собирали всех крестьян своего десятка домов, читали им законы государства и рассказывали о величии дайри и шогуна.

Все плотники имели огороды, а на маленьких полях сеяли рис. У семьи старого Ичиро рисовое поле было в вершине долины, почти в горах, поэтому дом прозван «Верхнее поле». Это единственная легенда про нашу семью. Все остальные легенды про государство, про властителей и про святых.

Но вот отец стал болеть. Ичиро некоторое время скрывал, что плохо видит, но люди узнали. Заказов больше нет. Братья отца немного помогали, потом стали забывать Ичиро, хотя и не совсем, но у всех у них свои дела и заботы. Таракити хотел наняться в чужие люди, за работу, как известно, свои всегда мало платят, особенно племянникам. Помог Кикиути. Взял в свою артель. Потом – просто счастье – в деревне началось западное судостроение. Отец больше не жалуется на братьев. Первые дни Таракити работал с Кикиути и подчинялся ему. Но сейчас они равны – оба артельные старосты.

– Я тебя учил. Смотри не поверх носа, не на высоту западного сооружения, а на доску. Отдельвай, как я тебя учил. А как же ты пилу развел? – говорил Ичиро.

– Да, отец, я все сделал...

Таракити знал, о чем думает отец. Не о своем глазе и не о своей нужде.

Таракити рассказал, что сделал первый футоко.

Таракити желал знать, почему все части западного корабля из наборного дерева, а не из цельного? Если сравнить части корабля с членами человеческого тела, например с ногой? Разве, если сломать ногу, а потом срастить ее, она будет крепче, чем несломанная? Отец обычно говорил, что надо меньше говорить, ему кажется, что такие сравнения неудачны. Он все свое: «Говорит тот, кто не знает, кто знает, тот молчит». Конфуцианские заветы? А похоже, что все части западного корабля сращиваются из нескольких кусков. Колокольцов тоже не стал объяснять, а сказал, что Таракити должен сам понять и что ни в одной стране он не видел таких плотников старательных, как в Хэда. Таракити все же спросил у отца. Ичиро ответил, что и раньше кое-что знал. Японцы тоже умели делать части корабля набором.

– От этого корабль крепче?

– Конечно, крепче. Дерево деформируется со временем. Корабль не должен подвергаться опасности, если деформируются его большие части. Еще хуже, если что-то треснет, или сгниет, или сломается. А три составные части одинакового значения, все три слоя не могут одновременно измениться или сломаться. Даже ваш киль, что-то мощное, единое, основа судна и его фундамент, как ты сам объяснял мне, и тот сделан из многих частей.

– Да, в европейском судостроении ничто не делается из сплошных деревьев.

– Это все ради крепости, чтобы корабль не ломался весь сразу. Мы это знали всегда. Умели сращивать части. Но за это не хвалят. Могли спросить: «Зачем ты так хорошо делаешь? У нас не принято плавать в чужие страны. У нас проще все делается. А-а, может, ты хочешь построить корабль дальнего плавания? Кто тебя подкупил? Зачем хочешь быть лучше других?» И сразу мы хорошую старинную работу забываем и все делаем похуже, как и все наше общество судостроения. Иностранцы теперь делают части корабля набором для себя, чтобы идти за море. Но из плохого леса.

– Они торопятся, работают очень аккуратно. Деревья даны хорошие.

Ичиро сказал, что построил за свою жизнь много кораблей. Таракити показалось, что отец знает все. «Неужели ему известно и то, что мы теперь изучаем? Как честный человек, он подчинялся властям всю жизнь и еще теперь не смеет проговориться! Самому не полагается знать или изобретать что-то важное». Когда Таракити учился, бонза читал детям китайскую книгу о том, как всем надо подчиняться старшим, их слушаться, им обо всем докладывать и ждать позволения. Приводился пример, что в Китае казнили одного ученого за то, что он частным образом у себя дома написал историю государства. А, говорят, хорошо написал!

...Отец проворчал, что Таракити, наверно, хочет походить на иностранного морского солдата, поэтому работает небрежно, пила не в порядке!

Таракити жаль, что отец не видит постройки шхуны, как там все делается красиво, смело и как совершенно разные части, которые делаются отдельно друг от друга по чертежам, вдруг сливаются в одно целое, а этих частей – масса.

– А ты знаешь, что в деревнях есть мастера, которые так готовят материалы, что из них построенное судно не может никогда утонуть, даже получив пробоину? Делается, как пробка. Эти суда не горят.

– Где такие мастера?

Ичиро мог ответить: «Это я!» Но не сказал. Кто знает – тот молчит. Говорит тот, кто не знает.

– А куда исчез монах? – спросил отец, выслушав признание Таракити о таинственных встречах.

– Не знаю. Кажется, его голос мы слышали, проходя мимо Фукусенди.

– Я про этого монаха слышал. Он не только к вам приставал. Он ко всем вяжется. Говорят, шлялся по Токайдо, много пил. Играл в азартные игры... Но... говорят, недавно он... – Ичиро заговорил шепотом: – На тракте в одном из храмов... Сидел в очень приличной и богатой одежде...

– Где ты это слышал?

– Люди говорят.

– Люди что не выдумают!

– Я сам его видел один раз в лесу, когда собирал дудки, он читал какие-то записки, доставая из рукава, и меня не заметил. Если хочешь узнать что-нибудь, то спроси у таких нищих, как я. Но... Кто знает – тот молчит. А как Оаке-сан?

– Про Оаке-сан говорят: лысый и старый, но все понимает.

– И я бы пошел на работу – понял.

– И что же? Иди.

– Куда и к кому?

– Ко мне в артель...

На другой день Таракити привел на работу отца. Ичиро положил зазвеневший мешок с железом на траву.

Старик и старший начальник мецке посмотрели друг на друга у трапа, ведущего на стапель. Ичиро поклонился, посчитав встречного за мастера, но потом разглядел и ужаснулся. Мало кланялся!

– Сам Танака-сан!

Ичиро стал нижайше кланяться и, подымая голову, в оправдание открывал пошире больной глаз.

Таракити задал дело – строгать доску. «Сын над отцом командует!»

Матросы посмотрели с любопытством. Первый японский старик на работе. До сих пор присылали молодых. Как они стараются, молодых не хватает – подняли старика.

Васька Букреев засмеялся и показал на шхуну:

– Скоро поставим шпангоуты.

Старик достал из ящичка и сунул Букрееву кусок редьки.

– Кусай! – сказал он.

Он знал, что матросы всегда голодные.

– Кусай! – угостил он Маслова.

День будет жаркий, тихий, в воздухе пахнет водой и цветами. А налетит ветер и пригонит тучу со снегом! И так бывает!

Глава 8

Господин плотник

Через два дня переводчик Иосида, закончив утренние объяснения с рабочими, спросил у Таракити:

- Кто, по-вашему, лучше всех из хэдских мастеров?
- Конечно, Кикүти, – ответил Таракити.
- Какую он хочет взять фамилию?
- Не знаю.

Хотя известно, что Кикүти хочет называться Оаке и его многие уже так зовут, но Таракити не мог отвечать за него. Оаке Кикүти! Красиво! И мастер хороший!

- А какую вы возьмете фамилию?

Таракити засопел от напряжения, но не мог вымолвить...

– А мой глаз лучше стал немного видеть! – вмешался в разговор Ичиро, подходя с чурбаном, который он держал на спине на веревках.

Старик понес груз дальше. У старого есть перед молодыми важное преимущество. Молодому надо все показать и объяснить. Старый плотник понимает без объяснений. Но у сына приходится спрашивать. Он все знает. Шпунты, голландские зубья, щиты, нагели из кореньев, нижние части шпангоутов с пазами, а верхние – пни, все эти названия частей западного судна изучаются хэдскими мастерами. Старосты артелей во всем разбираются. Нельзя, не разрешается сказать, что все это уже известно было когда-то прежде. Поэтому многим японцам кажется, что раньше ничего хорошего не было. «Как не было?» – хочется кричать. Конечно, говорили, что все вредное запрещено. А теперь мы это вредное изучаем как новинку.

Ичиро доволен. Он хороший плотник, это все увидели. Матросы его знают. Сын получил позволение взять его в артель полноправным рабочим. Только старички из тайной полиции поглядывают косо. Он их побаивается, поэтому кланяется им усердно и многократно, низко, особенно почтительно, сколько бы раз ни встретил. Он учит сына, что полицию надо любить и никогда ее не страшиться.

В Японии давно уже создана тайная полиция. И может быть, тысячу лет наблюдает за японцами. За это время все японцы взяли с нее пример и научились наблюдать. И теперь все сами наблюдают за полицией еще лучше, чем полиция за ними. Поэтому Ичиро все знает. Ему известно и про монаха. Но кто знает, тот молчит...

А что же делать тому, кто не знает? Есть и такие, кто и знать ничего не хочет, только пьянствует. Их на работу не берут и близко не подпускают.

...Иосида скуластый, с лысиной во всю голову, без бороды и усов, тощий, как скелет, одетый в самурайский кафтанчик. Был смолodu простым рыбаком, ветром унесло в Россию, он там долго жил и вернулся в Японию. Теперь здесь назначен переводчиком для нижних чинов и рабочих, это значит, что очень важный шпион, хотя и не главный. Ичиро ему всегда умильно улыбается, словно так рад, так тронут... Старого закала, знает прекрасные народные оттенки вежливости. Истинно народный старичок!

Ичиро кажется, что на постройке корабля вдруг нашел ответы на множество вопросов, накопившихся у него за долгую плотничью жизнь.

Так вслед за сыном вступаешь в величественный мир поэзии судостроения! Ичиро в душе давно согласился, что стапель необходим, и уже более не жалеет, что хороший японский лес израсходован.

Артель собирала нижнюю часть шпангоута. Как плоская дуга из кусков гладкообструганной сосны складывалась на траве. Бамбуковой лучинкой, смоченной тушью, сын делал на ней какие-то западные наметки и тут же рядом писал объяснительные знаки по-японски. Двое

рабочих поднесли «пень» – верхнюю часть шпангоута. Руки у них маленькие, а части корабля кажутся гигантскими.

Верхняя часть наглухо легла на нижнюю, зубья и шипы входили в пазы или гнезда. Между собой все футоко поперек зубьев очень крепко соединялись болтами и деревянными гвоздями. Осторожно загоня их топорами, два косматых плотника, с повязками над лбами, скрепили весь шпангоут. Деревянные гвозди входили плотно, словно сливались с его частями, сращивали их. Да они еще разбухнут потом в воде и совсем срастутся.

Вокруг стапеля стоят готовые шпангоуты. Их очень много. Когда они составятся с килем, то будет похоже на скелет гигантского животного.

Прямых шпангоутов для средней части корабля сделано тридцать шесть. Поворотных – для носа и кормы – одиннадцать. Вот с этими поворотными пришлось повозиться.

Изучали слова «малк», «смалковать», «размалковать». Смалковать – значит стесать часть шпангоута, который доставлен будет не прямо, а с наклоном, а боковая, наружная часть его должна составлять что-то единое не с прямой, а с кривой линией обвода судна. Теперь выглядит очень художественно. Когда работали, то боялись, старались не ошибиться.

Вокруг стапеля и шпангоутов собралась целая армия морских воинов. Несколько матросов взяли за большой шпангоут, сделанный Глухаревым – морским матросом небольшого роста с узкими усами во все узкое лицо.

Сразу же все артели плотников-японцев бросили работу и кинулись к стапелю. Матросы внесли по широкому трапу гигантскую деревянную подкову. Толпа японцев на стапеле вежливо посторонилась.

Шпангоут велик, в два с половиной, даже в три раза выше человеческого роста. Матросы, внесшие его и шедшие рядом с ними, разделились поровну и встали по обе стороны кия. Держали шпангоут на руках легко, словно это не многопудовое дерево, а что-то вроде веера, и спустили его нижней частью, пазом на киль. Тут же сразу снова подняли всю громадину. Морской воин Глухарев, с узкими усами, стал «прирезать» шпангоут, подгоняя гнездо по килю.

Колокольцов подошел. Таракити давно просил, чтобы Кокоро-сан разрешил ему прирезать хотя бы один шпангоут. Японцы толкались, теснили матросов, их лица выражали крайнее любопытство, похожее на испуг. Некоторые поглядывали на Кокоро-сан, желая знать по его лицу, все ли происходит как следует. Таракити от волнения, казалось, лишился речи.

– Здорово, молодцы! – раздался у стапеля знакомый голос.

– Здрав желаю, ваше прест-во! – грянули матросы.

По трапу поднимался Путятин. С ним Уэкава Деничиро, Эгава Тародзаймон, капитан Лесовский, офицеры и переводчики. Торжественность происходящего увеличивается, это отзывается в сердце.

– Прирезаем мидель-шпангоут, Евфимий Васильевич, – доложил Колокольцов.

Таракити знал, что такое мидель. Это шпангоут, который должен встать на середине кия, основной, главный, с него все начинается. От него к корме и к носу корабля будут поставлены другие ребра будущего корабля.

– Делаем насадку, Евфимий Васильевич, – сказал Глухарев, когда адмирал подошел.

– Смолы все еще нет? – спросил он.

– Покуда еще никак нет. Пока делаем насадку на бумагу, пропитанную черепаховым жиром.

Унтер-офицер присел на корточки, глядя, как паз шпангоута садится по масляной бумаге. Мидель-шпангоут сел отлично. Как гигантские рога или как два ребра от хребтины величайшего животного возвышались над стапелем.

– Теперь, Таракити, давай твой шпангоут, – сказал Колокольцов. – Первый от миделя к корме. Глухарев и Аввакумов помогут.

Аввакумов – морской воин и мастер кораблестроения, большого роста, с широкими рыжими усами.

– Готов следующий? – спросил Путятин.

– Готов, Евфимий Васильевич. Все шпангоуты готовы. Подавайте сюда свой, – повторил Колокольцов, глядя на молодого японца тревожно, словно на экзамене при инспекторе он вызывал лучшего из своих кадетов.

Таракити вздохнул прерывисто и поспешил вниз. Хэй-бэй перепрыгнул прямо из стапеля на траву.

– Экий разбитной! Хоть в марсовые! – сказал Аввакумов.

Путятин еще прежде заметил этого длиннолицего проворного парня из деревни на тракте Токайдо²⁸. Он спасал моряков Путятин. Он ведь еще и весельчак. И певец...

Таракити и Хэйбэй с товарищами понесли шпангоут.

– Дай пособлю, – сказал Маслов у трапа.

– Ничего, ничего! Я сам! – ответил по-русски Хэйбэй.

Матросы смотрели с недоверием и ревностью.

– Каково! – воскликнул сидевший на корточках штурманский поручик Карандашов, поднялся и дал дорогу адмиралу.

– Посмотрите, Евфимий Васильевич, как он линию приреза сделал! – обратил внимание адмирала Колокольцов. – Ее нельзя заметить, как будто киль и шпангоут срослись.

Адмирал нагнулся, посмотрел, потом достал лупу.

– Действительно, с трудом можно заметить линию замка.

– Вот он и сам... Матросы зовут его Никита...

– А как твоё настоящее имя?

– Таракити. Артельный староста, – пояснил Таракити по-русски и взглянул на Колокольцова как бы в поисках одобрения.

Александр Александрович Колокольцов молод, исполнился двадцать один год ему. А чем не инженер! И японца нашел по себе!

Вносили третий и четвертый шпангоуты.

– Пусть Таракити объяснит, как пилами делали шпангоут, – обратился адмирал к переводчику.

Таракити стал рассказывать.

Путятин, выслушав, обнял японца.

– Спасибо, дайку-сан!

«Дайку-сан? – обмер Таракити. – Господин плотник?»

«Оба еще мальчишки!» – хотел бы сказать Путятин. Что-то еще более значительное, чем сознание разрушаемых сословных перегородок, шевельнулось в душе адмирала-мореплавателя.

– Путятин ни атама о! – сказал Евфимий Васильевич по-японски словами песенки и постучал себя по голове, показывая, что забот много, атама о побаливает.

Тут Хэйбэй обмер. Он стал бледен, как старый эбису.

Путятин постучал и по голове Хэйбэя, словно хотел сказать, что много еще у кого будет голова болеть.

Значит, слыхал, что мы сочинили про него песенку. Как теперь? Что будет? Хэйбэй сильно смущен. Никогда бы не подумал! Путятин знает его песню! Как могло случиться? Песня стала известна. Это ведь, наверное, должно сохраняться в тайне от иностранцев...

²⁸ Токайдо – дорога между Эдо и Киото.

Путятин заметил замешательство молодых плотников. В Европе премьер-министры любят, когда на них в газетах печатают карикатуры, зачем же мне обижаться в подобном случае!

...Киль обставлялся пока еще светлыми деревянными ребрами по шестнадцати футов в вышину.

– Сегодня всем угощение от Путятина. После работы рис, рыба и sake, – объявили рабочим переводчики.

Рис уже варился в котлах.

– Что же будет дальше? – спросил Уэкава.

– А дальше заделаем пространство между шпангоутов, все высмолим, а потом обошьем снаружи досками, опять просмолим и сверху обошьем листами меди.

– Теперь я понял, как строится европейский корабль, – сказал Уэкава.

Заметно, что Эгава Тародзаймон печален, но спохватывается, улыбаясь корректно, когда к нему обращаются.

А на обрывах и на склонах гор обильно зацвела в эти дни мелкими цветами нежная сакура, там все окутано розовыми облаками. Но в розовом цвете есть что-то очень зрелое и крепкое, немного зловещий коричневый оттенок в один тон со скалами и камнями Идзу. Это красивые и нежные, но каменные цветы...

Под деревьями сакуры, у вырубленного матросами обрыва, два столба с перекладиной. К перекладине привязаны и натянуты закрепленные за кнехты два каната.

– Ру-би! – командует Аввакумов с широкими рыжими волнами усов во все лицо.

Два матроса мгновенно опускают свои острейшие, отточенные мечи и разрубает оба каната.

– Опять ты не вовремя, отстаешь, хрен голландский! – ворчливо говорит унтер-офицер матросу Строду.

Канаты вытягиваются, и концы их снова закрепляются.

– А ну, враз! Да не руби прямо, секи вкось, ты...

«Почему голландский? – подымая палаш, обиженно думает Строд. – Почему не латышский?»

– Что они делают, чему учатся?

– Наверно, рубить головы... – говорят проходящие мимо крестьяне.

Вечером на столе самовар, который возили в Симода на переговоры с американцами. В салоне у адмирала все пьют чай. Евфимий Васильевич помешивает в стакане оловянной ложечкой. Серебряные и золотые он раздарил японцам.

– Работая пилами, они экономят лес, – объясняет Александр Колокольников, – выпиливают из одной штуки по два, и даже по три шпангоута, что возможно благодаря толщине заготовленного для нас леса. Если бы не японские плотники, работа задержалась бы...

Злые мысли являлись в этот вечер в голове адмирала. Он все время помнил, как смутились сегодня на стапеле его офицеры. Где не надо, они, оказывается, все понимают по-японски. Что я сказал не так? Хотелось бы их сейчас спросить: «Вы-то что? Вам-то какое до этого дело? Зачем вы пялили глаза, словно я у всех на виду опростоволосился?» Всегда были дисциплинированные, послушные, во всем согласные со мной! И вдруг я японца-рабочего назвал «господин плотник»! Не притворяйтесь, вы далеко не в своих аристократических чувствах уязвлены. Я-то знаю, в чем тут собака зарыта. Вот уж никогда бы не подумал? Колокольников – правая рука моя, а посмотрел, словно у него кость в горле застряла. Даже мой племянник Пешуров не глядел на дядю, глаза отводил. Воротил голову, точно рой ос на него неся. Стыдно за дядю? Что дядя-реакционер до сих пор вытравлял красные идеи, опровергал демократизм, воспитывал вас как ярых монархистов и верноподданных? Глушил, приказывал. И на тебе! Когда понадобилось, притворился, поступил как демократ, выказал противоречие своим же понятиям, себя

опроверг, осрамил, признался, что без демократических идей теперь нигде на свете ничего не сделаешь. Вот как вы рассуждали! Значит, вы тайком всегда осуждали меня? Эх, господа, и не извиняйтесь! Этого не забуду. Вот когда я вас понял. А я-то думал: молодые люди из дворянских семей, цвет флота... Ну, впрочем, пока мы тут, это еще ничего, но ведь мы же все домой хотим вернуться... Я видел побольше вас, господа! – желал бы сказать адмирал. Жил в Европе и наблюдал. Я видел не только то, что есть, но и куда все идет. Чартисты только еще начинали, а я все понял. Я знаю о Французской революции и вообще о всех событиях сорок восьмого года куда больше вас. Да, я читал современные философские сочинения, какие вам недоступны!

Путятин, как и все, кто выслужился, закоренелый, матерый реакционер и консерватор? И ханжа! Только так! Поэтому ему даются важные поручения? Да! Но если бы не мне, то кому? Кому? Подумайте, разве вы не знаете, кто у нас вокруг престола? Бывало, что за подвиг, за храбрость и я воздавал должное русскому матросу. И обнимал, и целовал, представлял к наградам, производил в унтера. Хочу произвести в офицеры несколько человек из нижних чинов. Но не называть же их «господин матрос»! Бывало, конечно, что я в физиономию заезжал, как Берзиню из-за молока в самую гуманную пору моей жизни! А тут все смутились, как будто я крикнул: «Долой царя и Нессельроде!»

Путятин не хуже своих молодых офицеров знал, что, конечно, со временем все сословия и все монархии, наверно, падут. А мои офицеры притворялись до сегодняшнего дня, что не знают ничего подобного. Хорош же в их глазах адмирал был до сих пор! Вы врете мне в лицо и ввали всегда. Сегодня я вас поймал! Если бы был, как Муравьев, я бы так и заявил вам: мол, я не красный революционер, а таким только притворился, чтобы вас поймать. Но все же я вас пригласил на самовар по случаю прирезки шпангоутов к себе, на чашку чая, а не закрыл дверей и не объявил, что занят. Я поступил как дворянин, а не как выскочка. Мне не стыдно никому смотреть в глаза.

Путятин обвел тяжелым взором лица офицеров. Кажется, ничего не понимают – молодость! Хотя и серьезные. Взял стакан и стал пить, пока чай не остыл.

Рабочие в Англии требуют права союзов и прав на выборах! Стыдно, пошло во всем ссылаться на англичан, тем более мне. Диккенс верно изобразил их: скряги, эгоисты и торгаши, а мир ждет от этих английских спекулянтов идеи свободы! Я жил с ними, знаю, из-за выгоды, даже из-за пустячной, от кого угодно откажутся и кого угодно предадут, даже друг друга. Конечно, было у него и другое мнение об англичанах, но война сейчас обязывала так думать. Боже спаси брать с них пример! Со временем на всей земле будет равноправие, но не от них пойдет.

Как же, ваше высокопре-ство, говорите «господин плотник» японцу, а сам крепостник? Вам не стыдно? Вы надеваете перед японцами личину английского свободолюбия и лицемерия и обучаете их тому, что вы удушаете у себя в России. Лгун вы, ваше превосходительство. И подлец? Нет, вы сами лгуны. Все как сговорились. Я не ждал! Так разочароваться в своих любимцах! Чего я хочу? Я знаю, что хочу! Я хочу, чтобы в Японии, где господствуют предрассудки, темнота, явился свет понятий, представление о величии свободного человека и равенстве со всеми. В глубине души я согласен на все... Только бы не касались религии, церквей. Но беда не в этом, а в том, что японцы – дельцы. Самураи, и даймио, и все их чиновники раскусили, чего я хочу, и живо усвоили высокие идеи! И меня, конечно, дурачат. Прислали Уэкава, он ведет себя так, словно без пяти минут Робеспьер. А они тем временем гнут свое. Неужели Азия приспособит новые идеи к своим азиатским замашкам? Мы уедем, а что тут будет? Какую тут свободу установят Эгава и бакуфу? Все офицеры поднялись.

– Спокойной ночи, Евфимий Васильевич!

– Премного благодарю вас, господа, за рвение и усердие.

– Рады стараться...

– Сегодня у меня скучновато было... Уж прошу простить...

- Нет, что вы...
- Все прекрасно, как никогда...
- Спасибо... Благодарю вас...
- «А звезд опять нет!» – выходя на воздух, подумал Сибирцев.

Глава 9

Афинские ночи

Ночью ветер налетал сильными порывами, зашумели деревья за дверью в саду и над крышей храма на обрывах. Непрерывно стучала дверная рама.

Время от времени кто-нибудь из офицеров, спавших в отдельных комнатах, просыпался и зажигал свечу, чтобы посмотреть на часы. Были легкие толчки, сотрясавшие дом. Ночь казалась бесконечной. Из лагеря доносились крики часовых, а из деревни – стук дощечек сторожей. В каком-то храме невпопад несколько раз ударил колокол. Пошел сильный дождь и сразу стих, и опять завывли и забились дверь и рамы окон, и опять затрясся дом.

Алексей проснулся от толчка. К землетрясениям все привыкли и днем не замечали их, однако сейчас, под шум бури, казалось, что опять может произойти несчастье.

Кто-то из офицеров вскочил, с силой откатил дверцу своей каюты и впотьмах стал пробираться через большую комнату, то шупая руками бумажные перегородки, то задевая табуретки у стола.

– Кто это? – спросил Шиллинг.

– Это я, – раздался голос Елкина.

– Зажгите свечу, Петр Иванович, что же вы впотьмах бродите, это моя каюта, а не входная дверь.

– Что с вами? – подымаясь, спросил Сибирцев из своей каюты.

Елкин уронил стул и, ни слова не говоря, опрометью кинулся к двери, откатил ее, но не вышел наружу, а, постояв немного, тихо прикрыл ее и тем же путем стал опять пробираться обратно. Слышно было, как он вошел к себе в комнату и влез в постель. Но вскоре вскочил и опять побрел, ощупью трогая руками стены.

– Кто это? – опять спросил Шиллинг.

– Это я, – тихим голосом ответил Елкин.

– Опять вы? Что за мистификация?

– Вы мою картину уронили! – вскричал Можайский, заслышав, как что-то повалилось.

– Да вы в своем уме, господа? – сердито спросил Михайлов.

– Кажется, толчки, – ответил Елкин.

– Ну и дайте спать! Какое мне дело!

Опять стало слышно, как в потемках, двигая предметы, бредет Елкин.

– Что с вами? Уйметесь вы наконец? – спросил Шиллинг, выходя со свечой.

Появился Можайский с фонарем.

– Вы куда собрались?! – воскликнул он и покатился со смеху.

Елкин стоял с ранцем за спиной и с двумя тюками в руках.

– Я упражняюсь на случай, если начнется сильное землетрясение, господа! Зажечь свечу будет невозможно, да и времени не хватит!

Елкин с вечера сидел за большим столом и вычерчивал начисто побережье Идзу и залив Суруга. Работа шла, и карта получалась хороша. Петр Иванович вдруг подумал, что все это может погибнуть по воле злого случая. Ему стало жаль своих трудов. Он первый производил тут съемки, делал промеры, собирал коллекции и гербарии, вел гидрографические заметки. За время плаваний описал Сангарский пролив, нанес на карту южный берег Сахалина, залив Анива, Лаперузов и Татарский проливы и местами берега Японии. Все сделано тщательно, многое заснято впервые. Исписана целая стопка дневников. Составился драгоценный багаж. А при землетрясении всего можно лишиться. Могут вспыхнуть пожары, или нахлынет приливная волна. Елкин решил, что надобно попытаться все спасти или, во всяком случае, подготовиться к спасению карт и дневников, для начала все надежно упаковать. Да поупражняться ночью.

Шиллинг задул свечу и вернулся к себе. Елкин и Можайский установили свалившийся холст, натянутый на раму. Вскоре все улеглись. Через некоторое время налетел сильный порыв ветра. Внутри дома похолодало, и застучали внутренние стены.

– Вот и дождались! – проворчал Елкин.

Где-то прорвало бумагу в окне. Дуло все сильнее. Поток воздуха мчался по дому, как по трубе.

– Господи, что делается! – благим матом закричал Урусов.

– Так это у вас?

– Вы бы еще спали...

– Да я на ночь позабыл закрыть вторую раму. Я весь мокрый, господа... Как хлещет... Как в Афинах.

Юнкер попытался задвинуть вторую дощатую раму, но она разбухла и плохо подавалась. Наконец послышался хлопок, и ветер в доме стих.

– Разве в Афинах бывают тайфуны? – спросил Сибирцев.

– Мы стояли в Пирее, когда вот так же задуло от зюйда и понесло.

– Мне тоже приходилось заходить в Пирей, – заговорил Михайлов, – всегда была отличная погода. Легкий пассат...

– Хороши же, юнкер, ваши афинские ночи! – произнес Мусин-Пушкин. Видимо, решив, что спать ему не дадут, он стал будить денщика.

– В Греции бывают землетрясения, – громко объявил Зеленой.

– Греция, Греция! – отозвался Пушкин. – Вставай, Федор, – тормошил он матроса, спавшего мертвецким сном на полу. – Грей чай, да одеваться.

– Вы мне говорили, барон, что в Европе модно все греческое, – заметил Карандашов.

– Особенно в Англии? – спросил Михайлов.

– Знание мифологии – обязательный признак хорошего тона. В светском обществе, как и в литературе, модно упоминать обо всем античном. Парламентские ораторы и те цитируют изречения древних; в статьях и речах то и дело приводятся примеры из греческой истории. Модно коллекционировать античные предметы и произведения искусства, разбираться в деталях архитектурных сооружений древних. Англичане сравнивают себя и французов с римлянами и греками, защищающими в этой войне против нас цивилизацию. При этом саму Грецию, образно выражаясь, обчищают до нитки. Ни дать ни взять – турки!

– Ы-ы!.. Афинские ночи, господа! – зарычал Зеленой и опять зевнул, как лев.

Сквозь щели в ставнях пробивался слабый свет зачинавшегося утра. Все вставали.

На дворе лило как из ведра. Видны тяжкие тучи на скалах, приближение чего-то грозного чувствовалось в природе. Часовой сказал, что после полуночи, когда он встал на пост в будку, были небольшие толчки, а разок здорово трянуло.

– Я предсказывал, – сказал Елкин.

Все поглядели на утесы в лесах, висевшие над храмом.

Пришел Пещуров, вытер ноги о циновку и откинул мокрый капюшон.

– Адмирал просит всех на стапель. Шхуне угрожает опасность. Вода идет по ущелью сплошным потоком. Канавы переполнены, площадку затопило...

В Усигахора – ущелье Быка – сотни матросов с офицерами и японские рабочие с артельными рыли и рубили новые канавы. Тут же Путятин, Эгава и чиновники. Над стапелем с вечера на столбах натянули циновки, по которым вода стекает, не попадая на шхуну. Японцы укрыли и второй, только что заложенный стапель. Смоловарню затопило, ее деревянную трубу сорвало и унесло в море. Только кузницы дымят и работают на возвышении, где Ота-сан прежде хранил сухой пиленный лес.

Алексей стоял по колено в воде и в очередь с матросом, как и десятки других работающих пар, выбрасывал со дна потока камень и мокрую землю, которую с лязгом, быстрыми

короткими ударами ломали и рубили пешнями и мотыгами рабочие-японцы и матросы. Вода казалась холодной, но не по-нашему, не ледяной, в которую приходилось проваливаться в детстве или плавая у северных берегов. Жар горел во всем теле под промокшей насквозь шинелью. Иногда лопата, кроме воды, ничего не захватывала, в таких случаях Алексей корил себя, что дозволил промах, как барчук; будь рядовым, любой унтер его бы не похвалил.

По ущелью Усигахора, сокрушая лес, шла целая река. С утесов вода не лилась, а взлетала рывками в воздух, словно кто-то сбрасывал ее оттуда огромными лопатами.

У пристани смыло и унесло в море каменные крепления берега, его облицовку. Матросы и японцы рыли канавы, отводя потоки воды от стапеля, и на носилках таскали груды камней и наваливали валы вокруг фундамента. Повсюду на возвышениях, как согнутые ветром деревья, чернели фигуры бьющих камень японцев.

Ливень стих, но потоки еще шли. Невидимые огромные лопаты еще сбрасывали в воздух со всех обрывов желтые пласты воды. Понемногу вода стала слабеть и вдруг сразу так осела во всех ручьях, что люди, прекращая работу, приподнялись от земли, разгибались, не выпуская из рук инструментов, слышались веселые выкрики, начался общий говор, и задымились трубки.

Алексей отдал лопату японцу и выпрыгнул, держась за его руку, из канавы.

...Все вокруг в одинаково мокрой одежде. Одинаковые люди с лицами одного цвета. Заиграл горн. Японские чиновники прошли мимо со сложенными зонтиками.

...Утром ветер сушил почву. Погода стояла ясная, но жесткая, вроде нашей в пору цветения черемухи.

«Сакура выделяется из всех деревьев, когда цветет», – написала по-японски Оюки. Такеноске перевел и объяснил, что мисс Ота вспоминает японские пословицы по просьбе Ареса-сан.

– Спасибо, Оюки-сан! Очень благодарен.

«Благодарен, но сердце не задето. Ки ни иримасэн»²⁹, – подумала Оюки.

– Вы знаете, что значит «юки»? – спросил Такеноске у Сибирцева.

– Да. Снег.

– Девушка, носящая это имя, очень холодна, как снег. – Такеноске постоянно являл на эту тему, давая понять Сибирцеву, что его интерес к Оюки-сан не найдет отклика.

На горах и в садах одновременно зацвело множество деревьев. Лес и горы становились белыми. Местные жители говорили, что так будет до самой осени, одни деревья станут цвести за другими – и по большей части белым. Кто бы мог подумать, что Япония – страна коричневых скал и сплошной весенней белизны лесов! А в Европе знают: страна цветов вроде этакой плоскости среди моря, сплошь заросшей хризантемами и уставленной фарфором.

Оюки сидела поодаль, не глядя на Ареса-сан, готовая уловить любое намерение работавших офицеров и юнкеров.

В прекрасном отцовском доме, который теперь лишен уюта и превращен в казарму, у нее не стало привычных занятий. Она отвыкала ухаживать за цветами в священных нишах, да и ниши заняты шинелями, фуражками и сапогами. Оюки не развешивает и не расставляет украшения, не готовит к новому месяцу и к весеннему цветению смены картин на шелку для стен. Она теряет интерес ко всему этому.

Отец не пожалел средств, чтобы дать дочери хорошее воспитание. Теперь повсюду денежные тузы старались, чтобы их сыновья и дочери ни в чем не уступали детям самураев и даймио.

Но чувства пересиливают воспитание и все то, что привито долго и тщательно обучавшими Оюки гувернантками и наставницами. Если она не выдержит и упрекнет Ареса-сан, если

²⁹ В сердце не входит (т. е. не чувствует).

у нее все сорвется с языка, это будет ужасно. Она опозорит себя. В таких случаях в княжеских семьях девицы кончают жизнь самоубийством.

Отец дал ей также основательное религиозное воспитание. Традиции крепки в семье Ота. Сам Ота-сан относился к своим предкам снисходительно, как к недорослям и недоучкам, от которых не было никакого толка. Этот оттенок в отношении к душам усопших невольно передавался и детям при всем их почтении к религии.

Вся семья Ота единодушно смотрела вперед, а не назад и все свое благополучие создала сама.

Пришел Кокоро-сан, бросил шинель на пол. Девушка дала знак слуге подать чай.

– Она уже больше не сидит рядом с вами? – спросил Колокольцов.

Алексей молчал.

– Не надоело вам?

– Мы занимаемся с ней, как и прежде.

– В самом деле! Но ведь тут японский Миргород! Что с ними будет, когда мы уйдем...

Пришел старый Ота и сказал, что вся Япония больна, простудилась, пришлось мчаться на быстрой лошади в город Симода за лекарствами и приглашать докторов.

В лагере после вчерашнего аврала тоже много больных, все сипят и кашляют.

Колокольцов, уходя, дружески тронул локоть Алексея и покосился на японку. «Очень благородно и достойно держится Сибирцев! – подумал он. – Всем нам пример... Но мне уже поздно...»

Оюки проводила Колокольцова почтительным поклоном и восхищенным взглядом обратилась к Ареса-сан, как бы хотела сказать, что Кокоро-сан нравится всем, немного страшно, что совершенно овладел ее подругой. Оюки любит Ареса-сан. Но Оюки не хочет быть разрезанным персиком. Она никогда не покажет своего чувства.

Сибирцев, не разгибаясь, сидел за своим столом до сумерек. Уже все разошлись, когда он поднялся и как бы вдруг увидел девушку, обрадовался, подошел, взял ее за руку и попытался привлечь к себе, кажется, впервые за все время. Наверное, рассуждения Александра подействовали.

Оюки высвободилась и отступила.

Сибирцев сложил бумаги и оделся, закутав горло шарфом.

Случалось, в знак благодарности и как бы в приливе чувств, особенно после уроков русского языка, которые ей очень нравились, Оюки сама целовала его в щеку. После долгой разлуки, когда он вернулся из Симода с дипломатических переговоров, Оюки вlepила ему поцелуй при всех офицерах. Но все это как бы детские шалости...

В прихожей, где японцы обычно оставляют обувь, чуть теплился фонарь, Алексей опять увидел Оюки. Она замерла, словно в испуге. Чуть слышался аромат ее духов. Ее губы близки, словно вытянуты к нему, ее глаза блестели. Она, как во сне, тронула его руку и отступила в почтительном поклоне. Посветила ему фонарем, чтобы не оступиться на двух больших дощатых ступеньках.

Он вышел на улицу. Ветер, горы, слегка плещется волна в бухте.

«Право, скучная сцена!» – подумал Алексей. Он знал, что, может быть, если бы встретил ее в иной обстановке, такую красивую и яркую, увлекся бы не на шутку... Чистая, умная... Но «если бы» и «если бы». Вечное «если бы»... Порядочность? Долг? Честь?

Священник отец Махов, надевавший шляпу в прихожей офицерского дома, спросил:

– Откуда вы, Алексей Николаевич? Что собираетесь делать? Ужинать?

– Да я из чертежной... Ужинал там.

– Привыкаете к их блюдам?

– Да, я люблю их стол. Креветки особенно. А вы куда?

– К своим японским коллегам.

Все знали, что отец Василий Махов дружит с японскими бонзами.

– Что же вы будете делать? Пойдемте со мной, Алексей Николаевич. Познакомитесь с новым для вас интересным обществом, чем здесь скучать и томиться; вечер еще велик. Все равно читать нечего! «Да и оставит на время свою отроковицу», – подумал он.

Видя кислое выражение на его лице, отец Василий добавил:

– Вы скажете: что же интересного в японских полах? Да вы пойдите посмотрите сначала, а потом уж выносите приговор. Не понравится – в любое время можете уйти, дадут вам провожатого.

Как будто что-то толкнуло Алексея в грудь. «Не пора ли мне, однако, сойти с одной дорожки... Может быть, новое общество и новые наблюдения рассеют меня. А то живешь тут, ничего не видишь!»

Отец Василий в начищенных сапогах, в новой соломенной шляпе, с огромным зонтом: как у рисосеятеля. Борода выхолена и надушена японскими травяными духами. Вид свежий, недаром каждый день купается в реке, идущей с гор!

Зажгли фонари и вышли. Следом кто-то спешил с фонарем. Огромная фигура Можайского выросла в ночи на фоне бухты.

– Я с вами, господа. Возьмите меня...

– Пожалуйста, пожалуйста! – ответил отец Махов. Можайский сказал, что слышал за перегородкой, как Алексея уговаривали, позавидовал и сам поддался.

– А если опять польет, окаянный, – оглядывая небо в звездах и складывая зонт, сказал отец Василий. – Они все ждут землетрясения!

Храм стоял на отлете, за рисовыми полями. Войдя в ворота, путники поднялись по ступенькам, и отец Василий умело откатил широкую входную дверь. Главное помещение храма, где собираются молящиеся, темно и пусто, какой-то человек поднялся с пола и поклонился вошедшим. Сквозь дверь в боковой стене слышались голоса, и на бумажной перегородке виднелась тень женщины.

Махов провел офицеров в другую, соседнюю дверь. В большой узкой комнате стояли столики, за которыми в полутьме сидели и разговаривали люди. При тусклом свете фонаря один из них поднялся и сказал Сибирцеву:

– Здравия желаю, Алексей Николаевич, пожалуйста к нам. Милости просим, Александр Федорович.

– Александр Иванович? – удивился Сибирцев, узнавая артиллерийского кондуктора Григорьева.

– Так точно, Алексей Николаевич... Унтер-офицер Григорьев, честь имею!

«Поди же ты!»

За составленными столами, заваленными бумагами, сидели гости.

Алексей обратил внимание на красивую молодую японку. У нее было очень белое лицо формы дыни, что считается у японцев красивым, да и у нас, пожалуй, сочтется... Черный гребень ее волос выползает острым краешком на высокий чистый лоб.

Из-за стола встал Гошкевич и подвел офицеров к японке, что-то сказал ей и добавил по-русски:

– Княжна Мидзуно-сама... Оки-сама.

Офицеры поклонились и щелкнули каблуками. Княжна протянула руку. Алексею показалось, что у нее чуть впалая грудь. Глаза ее задержались, словно она что-то знала про Алексея.

У Григорьева голос хороший, он поет в церковном хоре, знает ноты, играет в оркестре, может исполнить соло из Верди или Беллини. На днях пришлось слышать разговор про Григорьева у адмирала. Евфимий Васильевич сказал: «Пусть ходит!» Адмирал запрещал офицерам и матросам посещать японские дома и заводить знакомства. Алексей тогда значения не придавал и не вслушивался.

Григорьев уселся за продолговатым столиком рядом с княжной, над длинной бумагой, тянувшейся из свитка, который лежал тут же. Развернутая часть свитка с рисунками свешивалась со столика.

Григорьев, развернув свиток пошире, показал его офицерам. Изображены как бы следующие вереницей друг за другом фигуры: петербургский дворник с метлой и в переднике, баба, торгующая яблоками, продавец сбитня, извозчик, лавочник, купчиха, двое приказчиков, барынька, гусар, солдат-гвардеец в высоком кивере. Жанровые сцены из жизни петербургского простонародья и господ схвачены живо, чувствуется умелая рука. До сих пор Алексей знал, что Григорьев – отличный чертежник. Японцы смотрели восхищенными взглядами, как обычно, когда видели что-то новое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.